Чехов

Антон Павлович

1860 -1904

Классики

за 30 минут

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.

В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.

Для широкого круга читателей.

- Чехов за 30 минут
  - Антон Павлович Чехов (1860-1904)
    - Детство писателя: «Талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери»
    - Юность: Антоша Чехонте или Человек без селезенки
  - Первые пьесы
    -
    - Поездка на Сахалин и другие путешествия
    - Мелиховский период (1892–1898 гг.)
    - На юг!
    - Дела семейные
  - Вишневый сад
    -
    - История создания и анализ произведения
    - Характеристика действующих лиц (цитаты из текста)
    - Сюжет пьесы в кратком пересказе
    - Полный текст произведения
  - Человек в футляре
    - История создания и анализ произведения
    - Характеристика персонажей (цитатный материал)
    - Сюжет рассказа «Человек в футляре»
    - Критики и читатели о рассказе
    - Полный текст рассказа «Человек в футляре»
  - Дама с собачкой

        - История создания и анализ произведения
        - Содержание рассказа «Дама с собачкой»
        - Характеристика героев (цитатный материал)
        - Любовь Гурова и Анны Сергеевны
        - Об окружающей героев действительности
        - Полный текст произведения «Дама с собачкой»
        - Критика и читатели о «Даме с собачкой»
    - «Смерть чиновника»
        - История создания
        - Краткое содержание и анализ произведения
        - Полный текст рассказа «Смерть чиновника»
    - Ионыч
        - История создания и краткий анализ
        - Характеристика персонажей (цитатный материал)
        - Про обывателей
        - Краткий пересказ рассказа «Ионыч»
        - Ионыч
    - Степь (история одной поездки)
        - История создания и анализ произведения
        - Характеристика персонажей (цитатный материал)
        - «Живые» пейзажи
        - Краткий пересказ повести
        - Степь (История одной поездки)
    - Дом с мезонином
        - История создания
        - Характеристика персонажей (цитатный материал)
        - Герои об общественном благе
        - Краткий пересказ
        - Дом с мезонином (рассказ художника)
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7

Чехов за 30 минут

Антон Павлович Чехов (1860-1904) Биография

Детство писателя: «Талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери»

Антон Павлович Чехов – русский писатель, драматург. Родился в г. Таганроге 17 (29) января 1860 г. Род Чеховых шел от простого сословия. Дед писателя по отцу, крепостной крестьянин, смог выкупить всю свою семью на волю. Дед по матери также был выкуплен из крепостных в юном возрасте. Отец писателя, Павел Егорович Чехов, купец 3-й гильдии, держал в Таганроге лавку под вывеской «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары». По характеру он был человек общественный, кроме того одаренный разнообразными талантами: играл на скрипке, увлекался живописью, а самое главное – хоровым пением. Церковный хор, который он организовал сам, был главным его делом, часто в ущерб коммерции. К детям отец был строг и воспитывал их в патриархальных традициях: с приучением к труду, в покорности старшим, применяя и порки. Утро у детей начиналось в 5 часов, с пения в церковном хоре. А после учебы в гимназии (иногда и вместо нее) сыновья Павла Егоровича работали в лавке. По вечерам у Чеховых звучала музыка, часто давались целые музыкальные постановки. Все шестеро детей Чеховых были творчески одаренными, все получили образование. Кроме учебы в гимназии, музыкальных занятий, отец считал обязательным обучение ремеслу – например, Антон обучался портновскому делу.

Мать – Евгения Яковлевна, всю душу свою отдавала мужу и детям. Она создавала домашний уют, нежно заботилась о домочадцах. Образование у нее по тем временам было обычным для девушек: частный пансион благородных девиц, где учили хорошим манерам и танцам. Евгения Яковлевна по характеру была отзывчивой, любящей натурой, сострадательной к природе и людям. Ее мягкий нрав сглаживал проявления суровости со стороны отца. Кроме семьи, ее любовью был театр, и, возможно, именно мать передала Чехову эту страсть, которая осталась с ним на всю жизнь.

Юность: Антоша Чехонте или Человек без селезенки

Увы, в 1876 году Павел Егорович разоряется, и вот Чеховы буквально бегут от кредиторов в Москву, где три года семья жила в крайней бедности, однако образование детей не прекращалось. Антон остается в Таганроге – ему нужно было окончить гимназию. Деньги на жизнь он зарабатывал сам – давал частные уроки, то есть работал репетитором. Переехав к семье в Москву, в том же 1879 году Антон поступает в Московский университет на медицинский факультет.

Первые свои произведения – юморески – Антон пишет еще для гимназического журнала. В декабре 1879 года Чехов – студент первого курса публикует в журнале «Стрекоза» рассказ «Письмо к ученому соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Существует легенда о том, что Антон издал свой первый рассказ, чтобы на гонорар купить матери именинный пирог. Так это или нет, однако фактически достоверно, что молодой Чехов зарабатывает публикацией своих рассказов средства для семьи. Его рассказы печатались в журналах «Зритель», «Будильник», «Свет и тени», «Мирской толк», в те годы Чехов работал только с малыми формами: короткий рассказ, юмореска, сценка, подписываясь псевдонимами – Антоша Чехонте, Человек без селезенки и их вариациями: всего известно около 50-ти псевдонимов писателя. В 1884 году вышла книга театральных рассказов Чехова «Сказки Мельпомены».

Отдельного упоминания заслуживает работа молодого писателя в журнале «Осколки» с конца 1882 г. В этом ведущем в то время юмористическом журнале было напечатано множество коротких сатирических «сценок» Чехова.

После окончания университета для Чехова начался его долгий путь в медицине, который в течение всей жизни писателя шел то параллельно с литературой, то переплетаясь с ней. Во время практики уездным врачом в Воскресенске (сейчас – город Истра), а затем в Звенигороде (где Чехов временно заведовал больницей) появились рассказы «Хирургия», «Мертвое тело», «Беглец», «На вскрытии», «Сирена».

1885-1886 годы – период, когда Чехов пишет по рассказу в день – рассказы были короткие, в основном юмористические. Работа шла, что называется, по накатанной колее, популярность писателя росла. Чехов мог и дальше работать в том же жанре,

однако весной 1886 года он получает письмо от известного русского писателя Дмитрия Григоровича. Григорович разгадал удивительный дар Чехова и просил его не тратить талант по мелочам, а накопить силы для большого произведения: «Один такой труд будет во сто раз выше оценён сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам». Важность этого письма была еще и в том, что оно помогло Чехову поверить в свои силы, чтобы перейти из круга «пишущих по смешной части» в мир более серьезных жанров. Получив это письмо, Чехов едет в Петербург, выразить Григоровичу свою признательность. В Петербурге случилось еще одно важное для литературной карьеры событие – известный издатель А. С. Суворин приглашает молодого Чехова работать в газете «Новое время». Так миновала пора шуточных псевдонимов – отныне Чехов подписывается полным именем.

Сборники, изданные в 1886-1887 годах:

• «Пестрые рассказы» (1886);
• «Невинные речи» (1887).

Чехов прислушался к совету не тратить талант на мелочи. С 1887 года публикации в юмористических журналах сходят на нет. Его проза становится больше по объему и глубже по содержанию. У писателя появляется желание путешествовать, и начиная с 1887 года он посещает юг (Таганрог и другие места), Крым, Кавказ. Именно поездка по родным местам дала писателю вдохновение и фактуру для написания повести «Степь», с которой он дебютировал в толстом журнале «Северный вестник», и этот дебют привлёк большое внимание критики. Написание повести «Степь» символизировало окончание периода раннего творчества Чехова. «Степь» вобрала в себя все литературные умения писателя: и мастерство пейзажной зарисовки, и прорисовка бытовых деталей, и тонкий юмор. В то же время, в повести появилось и новое: когда описываемая картина вырастает до размеров типической.

> С 1884 г. (время окончания университета) до выхода повести «Степь» в начале 1888 г. Чехов создал более 350 произведений, и эти малые по форме рассказы в совокупности дают интереснейшую картину нравов и быта России. В рассказах 1885-1887 гг. рождается особый тип, «чеховский герой» – это самый обычный, «средний» человек. Действительность, которую изображает Чехов, – это повседневная жизнь с ее рутиной. Чехов в одном из

писем времен «Вишневого сада» справедливо отмечал, что не каждую минуту в жизни люди говорят что-то умное, и редко являются герои либо отпетые подлецы. В обычной жизни люди чаще всего едят, пьют и изрекают глупости. Сюжеты Чехова просты. Заболела жена. Или, допустим, семилетний сын пробовал курить. Запретная любовь. Чиновничий страх перед начальством.

Так живут и герои Чехова: среди еды, питья и прочего обычного происходят в рассказах писателя события, близкие каждому человеку, рассказывается о простых, но важных и узнаваемых каждой клеточкой души переживаниях.

Первые пьесы

Первая пьеса Чехова «Иванов» была поставлена в Москве, в театре Корша, в 1887 году. Премьера прошла бурно: кто-то шикал, кто-то топал ногами, но большинство аплодировали и вызывали автора. Позже Чехов значительно переработал «Иванова».

Летом 1889 года писателя постигла огромная утрата – умер брат Николай. Подавленный горем, желая сменить обстановку, Чехов едет в Одессу, затем в Ялту, но боль не стихает. Вернувшись в Москву, в дом на Садово-Кудринской, Чехов начинает писать, пытаясь вернуть себе душевное равновесие, найти успокоение в работе. Первые произведения этого периода – «Скучная история» и пьеса «Леший».

Пьесу «Леший» по причине неудачной постановки Чехов снял с репертуара, но несколько лет спустя переделанная пьеса получила новую жизнь под названием «Дядя Ваня».

В Москве написаны:

- Повесть «Скучная история»;
- повесть «Степь»;
- водевили «Медведь» и «Лебединая песня»;
- пьеса «Леший»;
- более ста рассказов.

Дверь этого гостеприимного дома всегда была открыта для музыкантов, артистов, писателей и другого творческого люда. На втором этаже не смолкали звуки споров, музыки, а в это время на первом этаже Чехов работал за столом. Вышел четвертый сборник рассказов «Хмурые люди», посвященный Чайковскому. В 1887 г. Академией наук за сборник рассказов «В сумерках» Чехову была присуждена половинная Пушкинская премия. Известность и популярность Чехова возрастают, и одновременно нарастает недовольство собой, жажда самосовершенствования. Вновь писатель прибегает к испытанному средству – путешествию.

Поездка на Сахалин и другие путешествия

«Я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!» (*Чехов*)

В 1890 году Чехов отправляется в Сибирь; главная цель путешествия – остров Сахалин, место ссылки осужденных на каторгу. Путь через Сибирь занял 82 дня.

В Сибири написаны:

• девять очерков под общим названием «Из Сибири».

На Сахалин Чехов прибыл 11 (23) июля. И начались трудовые будни: общаясь с местным населением, писатель узнавал историю каждого, причину ссылки. Писателя интересовали подробности быта, труда заключенных и обычных местных жителей, условия содержания в тюрьме. Работая днем и ночью, он собрал 10 000 опросных карточек о жителях острова, проведя фактически перепись населения Сахалина. Общение с политзаключенными было строго запрещено администрацией острова, но Чехов обошел этот запрет.

Возвратившись с Сахалина морем, через Владивосток, Чехов устремился по маршруту: Гонконг, Сингапур, остров Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь, Одесса, в декабре 1890 года путешественник наконец вернулся домой.

Последующие 5 лет Чехов работал над своими путевыми заметками, в результате была написана книга очерков «Остров Сахалин». Этот литературный документ рассказывал о столь вопиющих нарушениях, что вызвал волну интереса к Сахалину, даже на уровне Министерства юстиции и Главного тюремного управления. На остров стали приезжать официальные лица и даже иностранцы для служебных расследований. Так, подвижнический труд Чехова в очередной раз принес пользу огромному количеству людей. А ведь самому писателю поездка на Сахалин стоила обострения туберкулезного процесса…

По итогам поездки в Сибирь написаны:

• книга очерков «Остров Сахалин»;

• рассказы «Гусев», «Бабы», «В ссылке», «Рассказ неизвестного человека», «Убийство».

После сибирского путешествия жажда странствий не была утолена, и Чехов вместе со своим другом и издателем Сувориным отправляются в Западную Европу: Австрию, Италию, Францию.

Финальная точка путешествия – блистательный Париж.

Вскоре по возвращении странника семья Чеховых меняет место, переезжая в усадьбу Богимово, принадлежащую местному помещику Е. Д. Былим-Колосовскому. Эта усадьба была примечательна просторными комнатами, ухоженным прекрасным садом, где весной вдоль аллей цвели липы и блестела гладь прудов. Кажется, именно здесь Антон Павлович смог насладиться долгожданным покоем. Установив ежедневный рабочий режим, который начинался с чашки ароматного кофе в четыре часа утра, он занялся систематизацией сахалинских заметок; здесь же была написана «Дуэль». В Богимово Чехов мог вволю поработать в тишине, чередуя литературные занятия с рыбалкой или походами по грибы.

В 1891-1892 годах часть средней полосы России и Поволжья из-за неурожая и засухи страдала от сильнейшего голода. Чехов организует сбор пожертвований в пользу голодающих Нижегородской и Воронежской губерний, сам дважды выезжал туда. В это время Чехов пишет рассказ «Жена».

Мелиховский период (1892–1898 гг.)

Недалеко от города Серпухова, близ станции Лопасня Московско-Курской железной дороги расположена деревня Мелихово. В центре ее – усадьба с фруктовым садом и двумя деревянными домами: большим и совсем маленьким. Весной 1892 г. Чехов покупает имение в Мелихово и поселяется там с родителями, сестрой Марией и на первых порах – братом Михаилом. Почему он убежал из Москвы? Вечные посетители, невозможность уединения, пошатнувшееся здоровье… Но даже не это главное. Чехов сам признавался, что, живя в Москве, он перестал чувствовать себя народным писателем, нужным врачом.

Итак, Чеховы живут «на земле»! Антона Павловича увлекают хозяйственные вопросы, реконструкция запущенного имения, во всех делах ему активно помогают домочадцы. Отец Чехова, Павел Егорович, начинает вести дневник, описывая жизнь в Мелихово день за днем: хозяйственные дела, погоду, кто и когда приезжал и уезжал.

Как и каждый день жизни великого писателя, Мелиховский период был насыщен событиями, благотворительностью, профессиональной деятельностью. Как только местные жители узнали, что Антон Павлович – врач, со всех сторон потянулись к нему пациенты, с которых он денег за лечение не брал. Увозили к тяжелым больным и его самого.

Во время эпидемии холеры, которая поразила центральные губернии России в 1892 году, Чехов стал работать наравне с уездными врачами: на открытом им временном медицинском участке он принимал больных, бесплатно выдавал им лекарства, вел статистические записи о заболеваниях.

Просто удивительно, что помимо медицины и писательства Чехов занимается общественными делами, да какими масштабными! Построены на личные средства писателя в Мелихове и окрестностях три школы, колокольня и пожарный сарай. При активном участии писателя строилось шоссе, ведущее на Лопасню, также Чехов добивается, чтобы на лопасненской железнодорожной станции останавливались скорые поезда, чтобы там были открыты почта и телеграф.

Для важного дела просвещения Антон Павлович не только строил школы, но также стоял у истоков организации общественной библиотеки в городе Таганроге, на родине писателя. Он отдает в дар более двух тысяч томов из личной библиотеки, включая редкие, дорогие экземпляры, в дальнейшем постоянно закупает и посылает новые партии книг. Просто

удивительно, с какой легкостью и любовью к окружающим этот человек с весьма хрупким здоровьем делал добрые и важные дела!

Ведет писатель и деловую, и светскую жизнь: выезжает в Москву и Петербург для встреч с издателями, редакторами, писателями, артистами, художниками, посещает спектакли, литературные вечера, концерты. В 1895 г. в Ясной Поляне состоялась встреча двух великих писателей – Л. Н. Толстого и А. П. Чехова.

В Мелихово, как и в другие места жительства семьи Чеховых, не прекращая едут гости. Антон Павлович, радушный хозяин, все-таки успевает и работать. Его рабочий кабинет – деревянный флигель. Над этим небольшим, но уютным «корабликом», окруженным ягодными кустарниками, поднимался настоящий флаг, когда его хозяин был дома. В этом флигеле была написана пьеса «Чайка».

В мелиховский период написаны:

• рассказы «Палата № 6», «Человек в футляре», «Бабье царство», «Дом с мезонином», «Случай из практики», «Ионыч», «Крыжовник», «На подводе», «Новая дача», «По делам службы»;

• повести «Мужики», «Моя жизнь», «Три года»;

• свыше полутора тысяч писем к различным адресатам;

• пьесы «Чайка», «Дядя Ваня».

На юг!

В 1897 году у Чехова настолько обостряется туберкулезный процесс, что он вынужден пройти лечение в больнице. И сам Чехов, и лечащие его врачи считали, что резкое ухудшение здоровья было вызвано поездкой на Сахалин, где писатель жил и работал во вредных для его здоровья условиях: в холоде и сырости. Доктора настояли на переезде Чехова на юг. Осень и зиму 1897-1898 гг. писатель живет в Ницце, потом в Париже. И тут не обошлось без социально важного дела: познакомившись в Париже с известным скульптором М. М. Антокольским, Чехов убеждает того создать для Таганрога памятник основателю города Петру Первому. Переговоры проходят удачно, Чехов организовывает бронзовую отливку статуи и доставку её в Таганрог.

В сентябре 1898 года Чехов приобретает участок земли в двух километрах от набережной в деревне Аутка. В октябре Чехов узнаёт о смерти отца.

В Ялте Чехов начинает строительство дома на деньги, полученные от продажи сочинений известному книгоиздателю Марксу. Проект дачи, известной ныне как Чеховский сад, принадлежал архитектору Шаповалову. Чехов своими руками сажает деревья, трудится на участке земли.

Через год Чехов живет в Ялте уже с матерью и сестрой. Имение в Мелихово продано. Как и обычно, начинается кипучая деятельность: как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен туберкулезом, работает в Попечительстве о приезжих больных. В то время очень многие чахоточные приезжали в Ялту, причем почти без денег, только потому, что были наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, который помогает устроиться.

Работая на пользу общества, Чехов не растворяется в десятках, сотнях больших и малых дел, которые он выполняет либо курирует. Он с огромной ответственностью относится к своей писательской известности и тому общественному резонансу, который неизменно вызывают его произведения. Именно этому вопросу посвящены строки: «Литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью». Так Чехов понимает свой долг – как писателя и человека. В 1900 году Чехова выбирают в почетные академики Петербургской Академии

наук. Но в 1902 году Чехов выходит из её рядов в знак несогласия с решением Академии об исключении Горького по причине его политической неблагонадежности.

Дела семейные

Весной 1900 года в Крым приезжает на гастроли Московский Художественный театр. Чехов отправляется в Севастополь, где специально для него дают «Дядю Ваню». Позже театр переезжает в Ялту, и в доме на Аутке начинают собираться писатели: Бунин, Горький, Куприн; кроме того, каждый день у Чеховых – вся театральная труппа. Вскоре театр возвращается в Москву, но одна из актрис вскоре приедет в Ялту вновь. Это Ольга Леонардовна Книппер, ведущая актриса МХТ, первая исполнительница ролей в чеховских пьесах, с которой Чехов познакомился на репетициях в 1898 году и впоследствии активно переписывался. Они проводят вместе весь июль, и решают создать семью. Судьба у этой семьи необычная: больше было прожито в разлуке, чем вместе – жена была привязана к театру, а муж – к курортному климату, поскольку уже был тяжело болен. Их письма полны нежности, глубокой печали от разлук и надежды на совместное будущее. Увы, этим надеждам не дано было осуществиться.

Зиму 1900-1901 гг. Чехов находится в Ницце на лечении, потом едет в Италию, а в феврале возвращается в Ялту. 25 мая Антон Павлович и Ольга Леонардовна венчались. Сразу после свадьбы Ольга Леонардовна везет мужа в Уфимскую губернию на кумыс – считалось, что он помогает при чахотке. Чехов уже очень слаб, но несмотря на мучительную болезнь, он продолжает писать, встречаться, помогать. Написана и поставлена пьеса «Три сестры» (1901 г.). Чехов в основном живет в Ялте, хотя погодные и бытовые условия нельзя назвать подходящими для него. Супруги не виделись по несколько месяцев, так как Ольга Леонардовна была занята в театре, а Чехов вынужден был находиться в Ялте по предписанию врачей. Разлуки эти были мучительны для обоих. Чехов писал жене: «Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству».

В 1904 году ставится еще одна пьеса Чехова «Вишневый сад». Книппер играет Раневскую, и эта роль – вершина ее творческой карьеры. «Вишневый сад» – это последнее произведение великого писателя и драматурга. Страдая от туберкулеза, в мае 1904 года Чехов покидает Ялту и вместе с женой едет в Баденвейлер, знаменитый курорт на юге Германии, где на короткое время писателю стало легче.

15 июля (2-го по ст. стилю) во втором часу ночи Чехов почувствовал себя особенно плохо. Приехавшему на вызов доктору он сказал твердо: «Я умираю». Затем попросил принести

шампанского, не торопясь осушил бокал, лег, повернувшись на левый бок, и вскоре скончался.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Языком цифр

• Произведения Чехова переведены более чем на 100 языков;

• его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира;

• произведения Чехова были экранизированы более 200 раз.

Вишневый сад
Комедия в 4-х действиях

Источник: *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Том тринадцатый. Пьесы (1895–1904). М.: Наука, 1986.

История создания и анализ произведения

Пьеса «Вишнёвый сад», трогающая читателей и зрителей до слёз, содержащая, как кажется любому, кто ознакомился с ней впервые, немало трагических моментов, – эта пьеса замышлялась и была воплощена автором как комедия.

Март 1901 года, из письма к О. Л. Книппер: *«Следующая пьеса, которую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу».*

Из письма М. П. Алексеевой: *«Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс».*

Несмотря на ясные указания автора, первое воплощение «Вишнёвого сада» (К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, Художественный театр) состоялось в жанре лирической драмы, и в дальнейшем не раз возникали разногласия в определении жанра произведения.

«Это не комедия, это трагедия… Я плакал, как женщина…». (К. С. Станиславский).

Чехову казалось, что театр всю пьесу делает не в том тоне; он настаивал, что написал комедию, а не слезливую драму, предупреждал, что и роль Вари, и роль Лопахина – комические. Но режиссёров он не переубедил.

«Вишнёвый сад» с его всплесками белого цвета (масса цветов, платья и костюмы героев) и грустью от неизбежной гибели старого, отжившего свой век, – последняя пьеса Чехова. Писатель работал над пьесой, будучи уже тяжело больным.

Это произведение, несомненно, можно назвать зрелым, в основу его сюжета легли впечатления, проходившие через всю жизнь Чехова: и пережитая в детстве драма продажи родового имения за бесценок, и наблюдаемые в современной ему действительности одряхление и распад дворянских гнёзд. Сам Чехов, судя по его переписке, считал процессы смерти и распада старого естественными, хотя и печальными.

Ноябрь 1898 г., из письма М. П. Чеховой: «После лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, – и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно. Надо только по мере сил выполнить свой долг – и больше ничего».

Действие начинается в мае, а заканчивается в сентябре, и за все эти пять месяцев не происходит ничего существенного. Герои

едят, спорят, вспоминают былое, принимают гостей… Никак не состоится предложение руки и сердца, которого ждет Варя от Лопахина. По словам самого Ермолая Алексеевича, он бы и не прочь жениться, но от слов к делу не переходит. Вот уж который год никак не окончит университет «свободный человек» Петя Трофимов. Кроме свободы, о которой он говорит постоянно, других ценностей у него нет: Петя беден, часто болен, он обладатель грязных худых калош, которые символизируют его неухоженность, неприкаянность. А вот Леонид Андреевич Гаев – напротив, предмет неустанных забот старика Фирса, который ходит за барином, словно нянька: проверяет, те ли надел он брючки, взял ли теплое пальто. Гаев, не одержав в жизни иных побед, кроме как на бильярде, неуверен в себе, отчего происходят его ужасная болтливость и пустословие. Зная за собой этот грешок, Гаев послушно умолкает, когда родные возмущаются очередной «речью к шкафу».

Вот в чьих руках находится будущее вишневого сада, а символически – и будущее старой России. Разорившаяся, но по-прежнему сорящая деньгами барыня, чья память полна светлых воспоминаний, но будущее весьма туманно. Не умея управлять имением, выйти из сложной ситуации, она ждет, когда чьи-то заботливые руки устроят все вокруг, когда кто-то научит, как быть. В личной жизни Раневская ведет себя так же: получая письма с мольбами о прощении от мошенника, который ограбил ее и разбил сердце, она в смятении, но в итоге решает простить, потому что в старой жизни после продажи имения ее тоже мало что держит.

Барин, за которым нянькой ходит старый Фирс и для которого сложностью представляется служба в банке, как и любая другая деятельность.

Романтично настроенная Аня, которая надеется перейти из мрачного настоящего в светлое будущее, читая книги и мечтая. Причем читать она даже не начала, хоть мы и наблюдаем за героями в течение пяти месяцев. Все это лишь разговоры, прожекты.

Варя, приемная дочь, единственная, кто как-то действует: она управляет хозяйством, на поясе у девушки неизменно связка ключей. Но ее личное будущее не устроено – Лопахин, который нравится Варе, никак не сделает предложение, а другой путь, как и все герои пьесы, Варя искать не хочет или не может, предпочитая жить мечтами о паломничестве по святым местам и об уходе в монастырь (то есть полном уходе от действительности).

Показательны и другие персонажи пьесы. Симеонов-Пищик,

помещик, чей род, по его словам, происходит от лошади, находится в вечном поиске денег: имение заложено и постоянно нужно платить по закладным. Порой судьба дарит ему временные передышки: через его землю прошла железная дорога, и Пищик получил денежную компенсацию, а в другой раз англичане нашли на его участке какую-то необыкновенную глину… Однако выйти из круга «найти денег – заплатить по закладной» Пищик не может. Шарлотта – гувернантка – даже не помнит, откуда она и кто были ее родители. Из бродячего цирка, в котором прошло детство Шарлотты, она вынесла умение показывать фокусы, чем и развлекает компанию. Но ведь фокус – это иллюзия, пшик…

Раз прежние владельцы вишневого сада не в состоянии устроить ни личную судьбу, ни судьбу своего родового имения, за дело берутся «новые люди» – такие как выходец из народа Лопахин. Именно он покупает имение на торгах. «Хватив топором» по вишневому саду, Лопахин проводит в жизнь свою идею о дальнейшем развитии России.

Действующие лица

Раневская Любовь Андреевна, помещица.
Аня, ее дочь, 17 лет.
Варя, ее приемная дочь, 24 года.
Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.
Лопахин Ермолай Алексеевич, купец.
Трофимов Петр Сергеевич, студент.
Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.
Шарлотта Ивановна, гувернантка.
Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.
Дуняша, горничная.
Фирс, лакей, старик 87 лет.
Яша, молодой лакей.
Прохожий.
Начальник станции.
Почтовый чиновник.
Гости, прислуга.

Характеристика действующих лиц (цитаты из текста)

Раневская

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала… Хороший она человек. Легкий, простой человек. (*Лопахин*)

* * *

Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если б ей волю, она бы все раздала. (*Варя*)

* * *

Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянина… Вышла за не дворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении. (*Гаев*)

* * *

О, мои грехи… Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, – он страшно пил, – и на несчастье я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время, – это было первое наказание, удар прямо в голову, – вот тут на реке… утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки… Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной… безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться… Так глупо, так стыдно… И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей… Господи, господи, будь милостив, прости мне

грехи мои! Не наказывай меня больше! (*Сама о себе*)

* * *

Я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом… (*Сама о себе*)

Лопахин

Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд… Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком… Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. (*Сам о себе*)

* * *

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья. (*Сам о себе*)

* * *

Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен. (*Трофимов*)

* * *

Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности… (*Сам о себе*)

Епиходов

Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь. (*Сам о себе*)

Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья… (*Дуняша*)

* * *

Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он… (*Сам о себе*)

* * *

Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук… Вот такой. И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана. (*Сам о себе)*

Варя

Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев… в Москву, и так бы все ходила по святым местам… Ходила бы и ходила. Благолепие!.. (*Сама о себе*)

А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. (*Раневская*)

Вишневый сад

Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад. (*Любовь Андреевна*)

* * *

Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает. (*Лопахин*)

* * *

И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад. (*Гаев*)

* * *

О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь, весь белый! О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое! (*Любовь Андреевна*)

* * *

Трофимов

Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин. (*Сам о себе*)

* * *

Должно быть, я буду вечным студентом. (Сам о себе)

* * *

Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я свободный человек. И всё, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых

рядах! (Сам о себе)

Гаев

Варя. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и все.

Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.

* * *

Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах! (*Раневская*)

Шарлотта

У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала *salto mortale* и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я – не знаю… Кто мои родители, может, они не венчались… не знаю. Ничего не знаю. Так хочется поговорить, а не с кем… Никого у меня нет. (*Сама о себе*)

Пищик

Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате… (Садится.) Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо… (Храпит и тотчас же просыпается.) Так и я… могу только про деньги… (*Сам о себе*)

Дуняша

Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. (*Лопахин*)

* * *

Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь… Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю; что будет с моими нервами. (*Сама о себе*)

* * *

Как цветок… Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова. (*Сама о себе*)

Обо всем

Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

* * *

Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота… И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина… Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

* * *

Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…

* * *

Фирс. Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?

Фирс. Перед волей.

* * *

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов… Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней… Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

Сюжет пьесы в кратком пересказе

Любовь Андреевна Раневская, владелица имения с вишнёвым садом, возвращается из-за границы, где жила последние пять лет. Из родового имения она уехала, преследуемая тяжелыми воспоминаниями: умер муж (спился), Раневская полюбила другого и сошлась с ним, и в это же самое время (как наказание, считает она) погиб ее семилетний сын Гриша, утонул в реке…

За границей незаконный роман Раневской продолжается: купив дачу под Ментоной, она поселяется там со своим любимым и ухаживает за ним, так как он тяжело болен. Однако он в ответ поступает с ней подло: обобрав, сходится с другой женщиной. Любовь Андреевна даже пыталась отравиться, но потом нашла выход в том, чтобы перебраться на родину, к дочерям и брату.

Ее приезд по времени совпадает с предстоящей продажей имения за долги. Казалось бы, это к лучшему: владельцы имения, собравшись вместе, найдут способ спасти родовое гнездо. Но нет. Позицию Раневской, Гаева, и даже Ани с Варей можно охарактеризовать как «мучительное бездействие» (термин самого Чехова). Купец Лопахин, деловой человек новой формации, предлагает способ спасения: разделив землю на участки, сдать их в аренду дачникам; таким образом можно не только спасти имение от продажи, но и получить прибыль! Правда, для этого нужно снести старый дом и вырубить вишневый сад. Владельцы и слышать не хотят об этом: для них и вишневый сад, и старая усадьба – хранители истории семьи. Аллеи сада, стены дома помнят легкую поступь матери Раневской, помнят ее детство…

Так и тянутся дни, недели и месяцы до продажи: Лопахин убеждает – Раневская и Гаев ускользают от него. Хозяйство имения в таком же упадке, как сам дом: из экономии, как говорят, Варя кормит прислугу горохом и молочным супом. Приехав из-за границы без рубля, Раневская тем не менее пытается по-старому сорить деньгами: в ресторане требует лучшее, дает неизвестному подвыпившему прохожему золотой, дарит весь свой кошелек крестьянам, пришедшим попрощаться…

С мая по сентябрь время проходит в разговорах, прогулках, воспоминаниях. Способ спасти имение не найден. Вишневый сад продают с торгов, и покупает его Ермолай Лопахин. Пьеса заканчивается отъездом прежних хозяев под аккомпанемент стука топоров – рубят вишневый сад.

Полный текст произведения

Вишневый сад

Комедия в 4-х действиях

Источник: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Том тринадцатый. Пьесы (1895 – 1904).
М.: Наука, 1986.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Раневская Любовь Андреевна, помещица.
Аня, ее дочь, 17 лет.
Варя, ее приемная дочь, 24 лет.
Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.
Лопахин Ермолай Алексеевич, купец.
Трофимов Петр Сергеевич, студент.
Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.
Шарлотта Ивановна, гувернантка.
Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.
Дуняша, горничная.
Фирс, лакей, старик 87 лет.
Яша, молодой лакей.
Прохожий.
Начальник станции.
Почтовый чиновник.
Гости, прислуга.
Действие происходит в имении Л. А. Раневской.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты.

Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке.

Лопахин. Пришел поезд, слава богу. Который час?
Дуняша. Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло.

Лопахин. На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. (Зевает и потягивается.) Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал… Сидя уснул. Досада… Хоть бы ты меня разбудила.

Дуняша. Я думала, что вы уехали. (Прислушивается.) Вот, кажется, уже едут.

Лопахин (прислушивается). Нет… Багаж получить, то да се…

Пауза.

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала… Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный – он тогда здесь на деревне в лавке торговал – ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу… Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет…»

Пауза.

Мужичок… Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд… Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком… (Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.

Пауза.

Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.

Лопахин. Что ты, Дуняша, такая…

Дуняша. Руки трясутся. Я в обморок упаду.

Лопахин. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить.

Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет.

Епиходов (поднимает букет). Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить. (Отдает Дуняше букет.)

Лопахин. И квасу мне принесешь.

Дуняша. Слушаю. (Уходит.)

Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. (Вздыхает.) Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?

Лопахин. Отстань. Надоел.

Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.

Дуняша входит, подает Лопахину квас.

Я пойду. (Натыкается на стул, который падает.) Вот… (Как бы торжествуя.) Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим… Это просто даже замечательно! (Уходит.)

Дуняша. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.

Лопахин. А!

Дуняша. Не знаю уж как… Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья…

Лопахин (прислушивается). Вот, кажется, едут…

Дуняша. Едут! Что ж это со мной… похолодела вся.

Лопахин. Едут, в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались.

Дуняша (в волнении). Я сейчас упаду… Ах, упаду!

Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и в высокой шляпе; что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь…» Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одетые по-дорожному. Варя в пальто и платке, Гаев, Симеонов-Пищик, Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами – все идут через комнату.

Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?

Любовь Андреевна (радостно, сквозь слезы). Детская!

Варя. Как холодно, у меня руки закоченели. (Любови Андреевне.) Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка.

Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда была маленькой… (Плачет.) И теперь я как маленькая… (Целует брата, Варю, потом опять брата.) А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала… (Целует Дуняшу.)

Гаев. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?

Шарлотта (Пищику). Моя собака и орехи кушает.

Пищик (удивленно). Вы подумайте!

Уходят все, кроме Ани и Дуняши.

Дуняша. Заждались мы… (Снимает с Ани пальто, шляпу.)

Аня. Я не спала в дороге четыре ночи… теперь озябла очень.

Дуняша. Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя! (Смеется, целует ее.) Заждалась вас, радость моя, светик… Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть…

Аня (вяло). Опять что-нибудь…

Дуняша. Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал.

Аня. Ты все об одном… (Поправляет волоса.) Я растеряла все шпильки… (Она очень утомлена, даже пошатывается.)

Дуняша. Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит!

Аня (глядит в свою дверь, нежно). Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад… О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.

Дуняша. Третьего дня Петр Сергеич приехали.

Аня (радостно). Петя!

Дуняша. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. (Взглянув на свои карманные часы.) Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди.

Входит Варя, на поясе у нее вязка ключей.

Варя. Дуняша, кофе поскорей… Мамочка кофе просит.

Дуняша. Сию минуточку. (Уходит.)

Варя. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. (Ласкаясь.) Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Аня. Натерпелась я.

Варя. Воображаю!

Аня. Выехала я на Страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту…

Варя. Нельзя же тебе одной ехать, душечка. В семнадцать лет!

Аня. Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала…

Варя (сквозь слезы). Не говори, не говори…

Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва

доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда…

Варя. Видела подлеца.

Аня. Ну что, как? Заплатили проценты?

Варя. Где там.

Аня. Боже мой, боже мой…

Варя. В августе будут продавать имение…

Аня. Боже мой…

Лопахин (заглядывает в дверь и мычит). Ме-е-е… (Уходит.)

Варя (сквозь слезы). Вот так бы и дала ему… (Грозит кулаком.)

Аня (обнимает Варю, тихо). Варя, он сделал предложение? (Варя отрицательно качает головой.) Ведь он же тебя любит… Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?

Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня… и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть… Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, всё как сон… (Другим тоном.) У тебя брошка вроде как пчелка.

Аня (печально). Это мама купила. (Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.) А в Париже я на воздушном шаре летала!

Варя. Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе.

(Стоит около двери.) Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев… в Москву, и так бы все ходила по святым местам… Ходила бы и ходила. Благолепие!..

Аня. Птицы поют в саду. Который теперь час? Варя. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. (Входя в комнату к Ане.) Благолепие!

Входит Яша с пледом, дорожной сумочкой.

Яша (идет через сцену, деликатно). Тут можно пройти-с?

Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.

Яша. Гм… А вы кто?

Дуняша. Когда вы уезжали отсюда, я была этакой… (Показывает от пола.) Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните!

Яша. Гм… Огурчик! (Оглядывается и обнимает ее; она вскрикивает и роняет блюдечко. Яша быстро уходит.)

Варя (в дверях, недовольным голосом). Что еще тут?

Дуняша (сквозь слезы). Блюдечко разбила…

Варя. Это к добру.

Аня (выйдя из своей комнаты). Надо бы маму предупредить: Петя здесь…

Варя. Я приказала его не будить.

Аня (задумчиво.) Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки… (Вздрагивает.) Как я ее понимаю, если бы она знала!

Пауза.

А Петя Трофимов был учителем Гриши, он может напомнить…

Входит Фирс; он в пиджаке и белом жилете.

Фирс (идет к кофейнику, озабоченно). Барыня здесь будут кушать… (Надевает белые перчатки.) Готов кофий? (Строго Дуняше.) Ты! А сливки?

Дуняша. Ах, боже мой… (Быстро уходит.)

Фирс (хлопочет около кофейника). Эх ты, недотёпа… (Бормочет про себя.) Приехали из Парижа… И барин когда-то ездил в Париж… на лошадях… (Смеется.)

Варя. Фирс, ты о чем?

Фирс. Чего изволите? (Радостно.) Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть… (Плачет от радости.)

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Лопахин и Симеонов-Пищик; Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя, руками и туловищем делает движения, как будто играет на биллиарде.

Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить… Желтого в угол! Дуплет в середину!

Гаев. Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно…

Лопахин. Да, время идет.

Гаев. Кого?

Лопахин. Время, говорю, идет.

Гаев. А здесь пачулями пахнет.

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. (Целует мать.)

Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. (Целует ей руки.) Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду.

Аня. Прощай, дядя.

Гаев (целует ей лицо, руки). Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать! (Сестре.) Ты, Люба, в ее годы была точно такая.

Аня подает руку Лопахину и Пищику, уходит и затворяет за собой дверь.

Любовь Андреевна. Она утомилась очень.

Пищик. Дорога, небось, длинная.

Варя (Лопахину и Пищику). Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать.

Любовь Андреевна (смеется). Ты все такая же, Варя. (Привлекает ее к себе и целует.) Вот выпью кофе, тогда все уйдем.

Фирс кладет ей под ноги подушечку.

Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок. (Целует Фирса.)

Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли… (Уходит.)

Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками. (Закрывает лицо руками.) А вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. (Сквозь слезы.) Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Фирс. Позавчера.

Гаев. Он плохо слышит.

Лопахин. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить… Вы все такая же великолепная.

Пищик (тяжело дышит). Даже похорошела… Одета по-парижскому… пропадай моя телега, все четыре колеса…

Лопахин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную… больше, чем родную.

Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии… (Вскакивает и ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радости… Смейтесь надо мной, я глупая… Шкафик мой родной… (Целует шкаф.) Столик мой.

Гаев. А без тебя тут няня умерла.

Любовь Андреевна (садится и пьет кофе). Да, царство небесное. Мне писали.

Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. (Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.)

Пищик. Дочка моя, Дашенька… вам кланяется…

Лопахин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. (Взглянув на часы.) Сейчас уеду, некогда

разговаривать… ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть… Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.

Гаев. Извините, какая чепуха!

Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич.

Лопахин. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцати пяти рублей в год за десятину, и если теперь же объявите, то я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, всё разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить… например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад…

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.

Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.

Лопахин (взглянув на часы). Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.

Фирс. В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало…

Гаев. Помолчи, Фирс.

Фирс. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая… Способ тогда знали…

Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?

Фирс. Забыли. Никто не помнит.

Пищик (Любови Андреевне). Что в Париже? Как? Ели лягушек?

Любовь Андреевна. Крокодилов ела.

Пищик. Вы подумайте…

Лопахин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным…

Гаев (возмущаясь). Какая чепуха!

Входят Варя и Яша.

Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф.) Вот они.

Любовь Андреевна. Это из Парижа. (Рвет телеграммы, не прочитав.) С Парижем кончено…

Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак, книжный шкаф.

Пищик (удивленно). Сто лет… Вы подумайте!..

Гаев. Да… Это вещь… (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.

Пауза.

Лопахин. Да…

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.

Гаев (немного сконфуженный). От шара направо в угол! Режу в среднюю!

Лопахин (поглядев на часы). Ну, мне пора.

Яша (подает Любови Андреевне лекарства). Может, примете сейчас пилюли…

Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая… от них ни вреда, ни пользы… Дайте-ка сюда… многоуважаемая. (Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом.) Вот!

Любовь Андреевна (испуганно). Да вы с ума сошли!

Пищик. Все пилюли принял.

Лопахин. Экая прорва.

Все смеются.

Фирс. Они были у нас на Святой, полведра огурцов

скушали… (Бормочет.)

Любовь Андреевна. О чем это он?

Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.

Яша. Преклонный возраст.

Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе проходит через сцену.

Лопахин. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. (Хочет поцеловать у нее руку.)

Шарлотта (отнимая руку). Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо…

Лопахин. Не везет мне сегодня.

Все смеются.

Шарлотта Ивановна, покажите фокус!

Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокус!

Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. (Уходит.)

Лопахин. Через три недели увидимся. (Целует Любови Андреевне руку.) Пока Прощайте. Пора. (Гаеву.) До свиданция. (Целуется с Пищиком.) До свиданция. (Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше.) Не хочется уезжать. (Любови Андреевне.) Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте.

Варя (сердито). Да уходите же наконец!

Лопахин. Ухожу, ухожу… (Уходит.)

Гаев. Хам. Впрочем, пардон… Варя выходит за него замуж, это Варин женишок.

Варя. Не говорите, дядечка, лишнего.

Любовь Андреевна. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек.

Пищик. Человек, надо правду говорить… достойнейший… И моя Дашенька… тоже говорит, что… разные слова говорит. (Храпит, но тотчас же просыпается.) А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне… взаймы двести сорок рублей… завтра по закладной проценты платить…

Варя (испуганно). Нету, нету!

Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего.

Пищик. Найдутся. (Смеется.) Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан глядь, – железная дорога по моей земле прошла, и… мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра… Двести тысяч выиграет Дашенька… у нее билет есть.

Любовь Андреевна. Кофе выпит, можно на покой.

Фирс (чистит щеткой Гаева, наставительно). Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!

Варя (тихо). Аня спит. (Тихо отворяет окно.) Уже взошло

солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!

Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (Смеется от радости.) Весь, весь белый! О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!

Гаев. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно…

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду… в белом платье! (Смеется от радости.) Это она.

Гаев. Где?

Варя. Господь с вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину…

Входит Трофимов, в поношенном студенческом мундире, в очках.

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо…

Трофимов. Любовь Андреевна!

Она оглянулась на него.

Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. (Горячо целует руку.) Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения…

Любовь Андреевна глядит с недоумением.

Варя (сквозь слезы). Это Петя Трофимов…

Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши… Неужели я так изменился?

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.

Гаев (смущенно). Полно, полно, Люба.

Варя (плачет). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Любовь Андреевна. Гриша мой… мой мальчик… Гриша… сын…

Варя. Что же делать, мамочка. Воля божья.

Трофимов (мягко, сквозь слезы). Будет, будет…

Любовь Андреевна (тихо плачет). Мальчик погиб, утонул…

Для чего? Для чего, мой друг? (Тише.) Там Аня спит, а я громко говорю… поднимаю шум… Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?

Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент? (Идет к двери.)

Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.

Любовь Андреевна (целует брата, потом Варю). Ну, идите спать… Постарел и ты, Леонид.

Пищик (идет за ней). Значит, теперь спать… Ох, подагра моя. Я у вас останусь… Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком… двести сорок рублей…

Гаев. А этот все свое.

Пищик. Двести сорок рублей… проценты по закладной платить.

Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик.

Пищик. Отдам, милая… Сумма пустяшная…

Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонид даст… Ты дай, Леонид.

Гаев. Дам я ему, держи карман.

Любовь Андреевна. Что же делать, дай… Ему нужно… Он отдаст.

Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша.

Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. (Яше.) Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.

Яша (с усмешкой). А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были.

Гаев. Кого? (Варе.) Что он сказал?

Варя (Яше). Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться…

Яша. Бог с ней совсем!

Варя. Ах, бесстыдник!

Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. (Уходит.)

Варя. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если б ей волю, она бы все раздала.

Гаев. Да…

Пауза.

Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь

наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.

Варя (плачет). Если бы бог помог.

Гаев. Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянина…

Аня показывается в дверях.

Вышла за не дворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.

Варя (шепотом). Аня стоит в дверях.

Гаев. Кого?

Пауза.

Удивительно, мне что-то в правый глаз попало… плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде…

Входит Аня.

Варя. Что же ты не спишь, Аня?

Аня. Не спится. Не могу.

Гаев. Крошка моя. (Целует Ане лицо, руки.) Дитя мое… (Сквозь слезы.) Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь…

Аня. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают… но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?

Гаев. Да, да… (Ее рукой закрывает себе лицо.) В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкафом… так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.

Варя. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и все.

Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.

Гаев. Молчу. (Целует Ане и Варе руки.) Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том, о сем, пятое-десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк.

Варя. Если бы господь помог!

Гаев. Во вторник поеду, еще раз поговорю. (Варе.) Не реви. (Ане.) Твоя мама поговорит с Лопахиным; он, конечно, ей не откажет… А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов – и

дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден… (Кладет в рот леденец.) Честью моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано! (Возбужденно.) Счастьем моим клянусь! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!

Аня (спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива). Какой ты хороший, дядя, какой умный! (Обнимает дядю.) Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!

Входит Фирс.

Фирс (укоризненно). Леонид Андреич, бога вы не боитесь! Когда же спать?

Гаев. Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь. Ну, детки, бай-бай… Подробности завтра, а теперь идите спать. (Целует Аню и Варю.) Я человек восьмидесятых годов… Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать! Надо знать, с какой…

Аня. Опять ты, дядя!

Варя. Вы, дядечка, молчите.

Фирс (сердито). Леонид Андреич!

Гаев. Иду, иду… Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого… (Уходит, за ним семенит Фирс.)

Аня. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дяде. (Садится.)

Варя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев – я промолчала. Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли… И это все Евстигней… Хорошо, думаю. Коли так, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея… (Зевает.) Приходит… Как же ты, говорю, Евстигней… дурак ты этакой… (Поглядев на Аню.) Анечка!..

Пауза.

Заснула!.. (Берет Аню под руку.) Пойдем в постельку… Пойдем!.. (Ведет ее.) Душечка моя уснула! Пойдем…

Идут.

Далеко за садом пастух играет на свирели.

Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается.

Тссс… Она спит… спит… Пойдем, родная.

Аня (тихо, в полусне). Я так устала… все колокольчики… Дядя… милый… и мама и дядя…

Варя. Пойдем, родная, пойдем… (Уходят в комнату Ани.)

Трофимов (в умилении). Солнышко мое! Весна моя!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье; Епиходов стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне.

Шарлотта (в раздумье). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto mortale и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я – не знаю… Кто мои родители, может, они не венчались… не знаю. (Достает из кармана огурец и ест.) Ничего не знаю.

Пауза.

Так хочется поговорить, а не с кем… Никого у меня нет.

Епиходов (играет на гитаре и поет). «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги…» Как приятно играть на мандолине!

Дуняша. Это гитара, а не мандолина. (Глядится в зеркальце и пудрится.)

Епиходов. Для безумца, который влюблен, это мандолина… (Напевает.) «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви…»

Яша подпевает.

Шарлотта. Ужасно поют эти люди… фуй! Как шакалы.

Дуняша (Яше). Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (Зевает,

потом закуривает сигару.)

Епиходов. Понятное дело. За границей всё давно уж в полной комплекции.

Яша. Само собой.

Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он… (Показывает револьвер.)

Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. (Надевает ружье.) Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Бррр! (Идет.) Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить… Все одна, одна, никого у меня нет и… и кто я, зачем я, неизвестно… (Уходит не спеша.)

Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук… Вот такой. (Показывает обеими руками.) И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана.

Пауза.

Вы читали Бокля?

Пауза.

Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов.

Дуняша. Говорите.

Епиходов. Мне бы желательно с вами наедине… (Вздыхает.)

Дуняша (смущенно). Хорошо… только сначала принесите мне мою тальмочку… Она около шкафа… тут немножко сыро…

Епиходов. Хорошо-с… принесу-с… Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером… (Берет гитару и уходит, наигрывая.)

Яша. Двадцать два несчастья! Глупый человек, между нами говоря. (Зевает.)

Дуняша. Не дай бог, застрелится.

Пауза.

Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь… Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю; что будет с моими нервами.

Яша (целует ее). Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения.

Дуняша. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать.

Пауза.

Яша (зевает). Да-с… По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.

Пауза.

Приятно выкурить сигару на чистом воздухе… (Прислушивается.) Сюда идут… Это господа…

Дуняша порывисто обнимает его.

Идите домой, будто ходили на реку купаться, идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу.

Дуняша (тихо кашляет). У меня от сигары голова разболелась… (Уходит.)

Яша остается, сидит возле часовни. Входят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин.

Лопахин. Надо окончательно решить – время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары… (Садится.)

Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. (Садится.) Съездили в город и позавтракали… желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию…

Любовь Андреевна. Успеешь.

Лопахин. Только одно слово! (Умоляюще.) Дайте же мне ответ!

Гаев (зевая). Кого?

Любовь Андреевна (глядит в свое портмоне). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно… (Уронила портмоне, рассыпала золотые.) Ну, посыпались… (Ей досадно.)

Яша. Позвольте, я сейчас подберу. (Собирает монеты.)

Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать… Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом… Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах!

Лопахин. Да.

Гаев (машет рукой). Я неисправим, это очевидно… (Раздраженно Яше.) Что такое, постоянно вертишься перед глазами…

Яша (смеется). Я не могу без смеха вашего голоса слышать.

Гаев (сестре). Или я, или он…

Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте…

Яша (отдает Любови Андреевне кошелек). Сейчас уйду. (Едва удерживается от смеха.) Сию минуту… (Уходит.)

Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично.

Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?

Лопахин. В городе говорят.

Гаев. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно…

Лопахин. Сколько она пришлет? Тысяч сто? Двести?

Любовь Андреевна. Ну… Тысяч десять-пятнадцать, и на том спасибо.

Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что?

Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее – аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтоб были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники – это так пошло, простите.

Гаев. Совершенно с тобой согласен.

Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (Гаеву.) Баба вы!

Гаев. Кого?

Лопахин. Баба! (Хочет уйти.)

Любовь Андреевна (испуганно). Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!

Лопахин. О чем тут думать!

Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее…

Пауза.

Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.

Гаев (в глубоком раздумье). Дуплет в угол… Круазе в середину…

Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили…

Лопахин. Какие у вас грехи…

Гаев (кладет в рот леденец). Говорят, что я все свое состояние

проел на леденцах… (Смеется.)

Любовь Андреевна. О, мои грехи… Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, – он страшно пил, – и на несчастье я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время, – это было первое наказание, удар прямо в голову, – вот тут на реке… утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки… Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной… безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться… Так глупо, так стыдно… И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей… (Утирает слезы.) Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа… Просит прощения, умоляет вернуться… (Рвет телеграмму.) Словно где-то музыка. (Прислушивается.)

Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.

Любовь Андреевна. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок.

Лопахин (прислушивается). Не слыхать… (Тихо напевает.) «И за деньги русака немцы офранцузят». (Смеется.) Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно.

Любовь Андреевна. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного.

Лопахин. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая…

Пауза.

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья.

Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг.

Лопахин. Да… Это правда.

Любовь Андреевна. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка.

Лопахин. Да.

Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится.

Лопахин. Что же? Я не прочь… Она хорошая девушка.

Пауза.

Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год… Слыхала?

Любовь Андреевна. Где тебе! Сиди уж…

Фирс входит; он принес пальто.

Фирс (Гаеву). Извольте, сударь, надеть, а то сыро.

Гаев (надевает пальто). Надоел ты, брат.

Фирс. Нечего там… Утром уехали, не сказавшись. (Оглядывает его.)

Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс!

Фирс. Чего изволите?

Лопахин. Говорят, ты постарел очень!

Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было… (Смеется.) А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах…

Пауза.

И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.

Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли.

Фирс (не расслышав). А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.

Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.

Лопахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.

Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет.

Входят Трофимов, Аня и Варя.

Гаев. А вот и наши идут.

Аня. Мама сидит.

Любовь Андреевна (нежно). Иди, иди… Родные мои… (Обнимая Аню и Варю.) Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом, вот так.

Все усаживаются.

Лопахин. Наш вечный студент все с барышнями ходит.

Трофимов. Не ваше дело.

Лопахин. Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент.

Трофимов. Оставьте ваши дурацкие шутки.

Лопахин. Что же ты, чудак, сердишься?

Трофимов. А ты не приставай.

Лопахин (смеется). Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?

Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен.

Все смеются.

Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.

Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор.

Трофимов. О чем это?

Гаев. О гордом человеке.

Трофимов. Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.

Гаев. Все равно умрешь.

Трофимов. Кто знает? И что значит – умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.

Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..

Лопахин (иронически). Страсть!

Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота… И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина… Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…

Любовь Андреевна. Вам понадобились великаны… Они только в сказках хороши, а так они пугают.

В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.

(Задумчиво.) Епиходов идет…

Аня (задумчиво). Епиходов идет…

Гаев. Солнце село, господа.

Трофимов. Да.

Гаев (негромко, как бы декламируя). О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь…

Варя (умоляюще). Дядечка!

Аня. Дядя, ты опять!

Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом.

Гаев. Я молчу, молчу.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.

Любовь Андреевна. Это что?

Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.

Гаев. А может быть, птица какая-нибудь… вроде цапли.

Трофимов. Или филин…

Любовь Андреевна (вздрагивает). Неприятно почему-то.

Пауза.

Фирс. Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?

Фирс. Перед волей.

Пауза.

Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. (Ане.) У тебя на глазах слезы… Что ты, девочка? (Обнимает ее.)

Аня. Это так, мама. Ничего.

Трофимов. Кто-то идет.

Показывается Прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; он слегка пьян.

Прохожий. Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь

прямо на станцию?

Гаев. Можете. Идите по этой дороге.

Прохожий. Чувствительно вам благодарен. (Кашлянув.) Погода превосходная… (Декламирует.) Брат мой, страдающий брат… выдь на Волгу, чей стон… (Варе.) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать…

Варя испугалась, вскрикивает.

Лопахин (сердито). Всякому безобразию есть свое приличие!

Любовь Андреевна (оторопев). Возьмите… вот вам… (Ищет в портмоне.) Серебра нет… Все равно, вот вам золотой…

Прохожий. Чувствительно вам благодарен! (Уходит.)

Смех.

Варя (испуганная). Я уйду… я уйду… Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Что ж со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще взаймы!..

Лопахин. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.

Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя.

Лопахин. Охмелия, иди в монастырь…

Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на биллиарде.

Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!

Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.

Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит.

Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..

Уходят все, кроме Трофимова и Ани.

Аня (смеясь). Спасибо прохожему, напугал Варю, теперь мы одни.

Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, – вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!

Аня (всплескивая руками). Как хорошо вы говорите!

Пауза.

Сегодня здесь дивно!

Трофимов. Да, погода удивительная.

Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

Пауза.

Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов… Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней… Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово.

Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.

Аня (в восторге). Как хорошо вы сказали!

Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и – куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его…

Аня (задумчиво). Восходит луна.

Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»

Трофимов. Да, восходит луна.

Пауза.

Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!

Голос Вари: «Аня! Где ты?»

Опять эта Варя! (Сердито.) Возмутительно!

Аня. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо.

Трофимов. Пойдемте.

Идут.

Голос Вари: «Аня! Аня!»

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Голос Симеонова-Пищика: «Promenade a une paire!» Выходят в гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй – Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей – Аня с почтовым чиновником, в четвертой – Варя с начальником станции и т. д. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по гостиной, Пищик кричит: «Grand-rond, balancez!» и «Les cavaliers a genoux et remerciez vos dames» («Променад парами!»… «Большой круг балансе!»… «Кавалеры, на колени и благодарите дам» (франц.).).

Фирс во фраке проносит на подносе сельтерскую воду. Входят в гостиную Пищик и Трофимов.

Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате… (Садится.) Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо… (Храпит и тотчас же просыпается.) Так и я… могу только про деньги…

Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.

Пищик. Что ж… лошадь хороший зверь… Лошадь продать можно…

Слышно, как в соседней комнате играют на биллиарде. В зале под аркой показывается Варя.

Трофимов (дразнит). Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..

Варя (сердито). Облезлый барин!

Трофимов. Да, я облезлый барин и горжусь этим!

Варя (в горьком раздумье). Вот наняли музыкантов, а чем

платить? (Уходит.)

Трофимов (Пищику). Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю.

Пищик. Ницше… философ… величайший, знаменитейший… громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно.

Трофимов. А вы читали Ницше?

Пищик. Ну… Мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай… Послезавтра триста десять рублей платить… Сто тридцать уже достал… (Ощупывает карманы, встревоженно.) Деньги пропали! Потерял деньги! (Сквозь слезы.) Где деньги? (Радостно.) Вот они, за подкладкой… Даже в пот ударило…

Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.

Любовь Андреевна (напевает лезгинку). Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? (Дуняше.) Дуняша, предложите музыкантам чаю…

Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.

Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати… Ну, ничего… (Садится и тихо напевает.)

Шарлотта (подает Пищику колоду карт). Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.

Пищик. Задумал.

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei! Теперь поищите, она у вас в боковом кармане…

Пищик (достает из бокового кармана карту). Восьмерка пик, совершенно верно! (Удивляясь.) Вы подумайте!

Шарлотта (держит на ладони колоду карт, Трофимову). Говорите скорее, какая карта сверху?

Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.

Шарлотта. Есть! (Пищику.) Ну? Какая карта сверху?

Пищик. Туз червовый.

Шарлотта. Есть!.. (Бьет по ладони, колода карт исчезает.) А какая сегодня хорошая погода!

Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола: «О да, погода великолепная, сударыня». Вы такой хороший мой идеал… Голос: «Вы сударыня, мне тоже очень понравился».

Начальник станции (аплодирует). Госпожа чревовещательница, браво!

Пищик (удивляясь). Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна… я просто влюблен…

Шарлотта. Влюблен? (Пожав плечами.) Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant[1].

Трофимов (хлопает Пищика по плечу). Лошадь вы этакая…

Шарлотта. Прошу внимания, еще один фокус. (Берет со стула плед.) Вот очень хороший плед, я желаю продавать… (Встряхивает.) Не желает ли кто покупать?

Пищик (удивляясь). Вы подумайте! Шарлотта. Ein, zwei, drei! (Быстро поднимает опущенный плед.)

За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге.

Любовь Андреевна (аплодирует). Браво, браво!..

Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei!

Поднимает плед; за пледом стоит Варя и кланяется.

Пищик (удивляясь). Вы подумайте!

Шарлотта. Конец! (Бросает плед на Пищика, делает реверанс и убегает в залу.)

Пищик (спешит за ней). Злодейка… какова? Какова? (Уходит.)

Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе, так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!

Варя (стараясь ее утешить). Дядечка купил, я в этом уверена.

Трофимов (насмешливо). Да.

Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, бог поможет, дядечка купит.

Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя, – нам она не верит, – а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. (Закрывает лицо руками.) Сегодня судьба моя решается, судьба…

Трофимов (дразнит Варю). Мадам Лопахина!

Варя (сердито). Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.

Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь – выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь – не выходи; тебя, дуся, никто не неволит…

Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.

Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать, не понимаю!

Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не

до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.

Трофимов. Благолепие!

Варя (Трофимову). Студенту надо быть умным! (Мягким тоном, со слезами.) Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! (Любови Андреевне, уже не плача.) Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.

Входит Яша.

Яша (едва удерживаясь от смеха). Епиходов биллиардный кий сломал!.. (Уходит.)

Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на биллиарде играть? Не понимаю этих людей… (Уходит.)

Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и без того в горе.

Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!

Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. (В сильном беспокойстве.) Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь… Я могу сейчас крикнуть… могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите…

Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано – не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.

Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом… (Обнимает Трофимова, целует его в лоб.) Ведь мой сын утонул здесь… (Плачет.) Пожалейте меня, хороший, добрый человек.

Трофимов. Вы знаете, я сочувствую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать… (Вынимает платок, на пол падает телеграмма.) У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя… Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню, клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место, так это странно… Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь… (Смеется.) Смешной вы!

Трофимов (поднимает телеграмму). Я не желаю быть красавцем.

Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Этот дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо… Он просит прощения, умоляет приехать, и по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать, он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним, кто удержит его от ошибок, кто даст ему вовремя лекарство? И что ж тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю… Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. (Жмет Трофимову руку.) Не думайте дурно, Петя, не говорите мне ничего, не говорите…

Трофимов (сквозь слезы). Простите за откровенность бога ради: ведь он обобрал вас!

Любовь Андреевна. Нет, нет, нет, не надо говорить так… (Закрывает уши.)

Трофимов. Ведь он негодяй, только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество…

Любовь Андреевна (рассердившись, но сдержанно). Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист второго класса!

Трофимов. Пусть!

Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить… надо влюбляться! (Сердито.) Да, да! И у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод…

Трофимов (в ужасе). Что она говорит!

Любовь Андреевна. «Я выше любви!» Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотёпа. В ваши годы не иметь любовницы!..

Трофимов (в ужасе). Это ужасно! Что она говорит?! (Идет

быстро в зал, схватив себя за голову.) Это ужасно… Не могу, я уйду… (Уходит, но тотчас же возвращается.) Между нами все кончено! (Уходит в переднюю.)

Любовь Андреевна (кричит вслед). Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!

Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.

Что там такое?

Вбегает Аня.

Аня (смеясь). Петя с лестницы упал! (Убегает.)

Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя…

Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна.

Ну, Петя… ну, чистая душа… я прощения прошу… Пойдемте танцевать… (Танцует с Петей.)

Аня и Варя танцуют.

Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери.

Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы.

Яша. Что, дедушка?

Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и жив.

Яша. Надоел ты, дед. (Зевает.) Хоть бы ты поскорее подох.

Фирс. Эх ты… недотёпа! (Бормочет.)

Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.

Любовь Андреевна. Merci! Я посижу… (Садится.) Устала.

Входит Аня.

Аня (взволнованно). А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.

Любовь Андреевна. Кому продан?

Аня. Не сказал, кому. Ушел. (Танцует с Трофимовым, оба уходят в залу.)

Яша. Это там какой-то старик болтал. Чужой.

Фирс. А Леонида Андреича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди простудится. Эх, молодо-зелено.

Любовь Андреевна. Я сейчас умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.

Яша. Да он давно ушел, старик-то. (Смеется.)

Любовь Андреевна (с легкой досадой). Ну, чему вы смеетесь? Чему рады?

Яша. Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья.

Любовь Андреевна. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?

Фирс. Куда прикажете, туда и пойду.

Любовь Андреевна. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать…

Фирс. Да… (С усмешкой.) Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом.

Яша (Любови Андреевне). Любовь Андреевна! Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. (Оглядываясь, вполголоса.) Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры!

Входит Пищик.

Пищик. Позвольте просить вас… на вальсишку, прекраснейшая… (Любовь Андреевна идет с ним.) Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас… Возьму… (Танцует.) Сто восемьдесят рубликов…

Перешли в зал.

Яша (тихо напевает). «Поймешь ли ты души моей волненье…»

В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»

Дуняша (остановилась, чтобы попудриться). Барышня велит мне танцевать, – кавалеров много, а дам мало, – а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется, Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило.

Музыка стихает.

Фирс. Что же он тебе сказал?

Дуняша. Вы, говорит, как цветок.

Яша (зевает). Невежество… (Уходит.)

Дуняша. Как цветок… Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.

Фирс. Закрутишься ты.

Входит Епиходов.

Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть… как будто я какое насекомое. (Вздыхает.) Эх, жизнь!

Дуняша. Что вам угодно?

Епиходов. Несомненно, может, вы и правы. (Вздыхает.) Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я…

Дуняша. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. (Играет веером.)

Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь.

Входит из залы Варя.

Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. (Дуняше.) Ступай отсюда, Дуняша. (Епиходову.) То на биллиарде играешь и кий сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость.

Епиходов. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.

Варя. Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно – для чего.

Епиходов (обиженно). Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на биллиарде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие.

Варя. Ты смеешь мне говорить это! (Вспылив.) Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!

Епиходов (струсив). Прошу вас выражаться деликатным способом.

Варя (выйдя из себя). Сию же минуту вон отсюда! Вон!

Он идет к двери, она за ним.

Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!

Епиходов вышел, за дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться».

А, ты назад идешь? (Хватает палку, поставленную около двери Фирсом.) Иди… Иди… Иди, я тебе покажу… А, ты идешь? Идешь? Так вот же тебе… (Замахивается.)

В это время входит Лопахин.

Лопахин. Покорнейше благодарю.

Варя (сердито и насмешливо). Виновата!

Лопахин. Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.

Варя. Не стоит благодарности. (Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко.) Я вас не ушибла?

Лопахин. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромадная.

Голоса в зале: «Лопахин приехал! Ермолай Алексеич!»

Пищик. Видом видать, слыхом слыхать… (Целуется с Лопахиным.) Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.

Входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Это вы, Ермолай Алексеич? Отчего так долго? Где Леонид?

Лопахин. Леонид Андреич со мной приехал, он идет…

Любовь Андреевна (волнуясь). Ну, что? Были торги? Говорите же!

Лопахин (сконфуженно, боясь обнаружить свою радость). Торги кончились к четырем часам… Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. (Тяжело вздохнув.) Уф! У меня немножко голова кружится…

Входит Гаев; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы.

Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну? (Нетерпеливо, со слезами.) Скорей же, бога ради…

Гаев (ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача). Вот возьми… Тут анчоусы, керченские сельди… Я сегодня ничего не ел… Столько я выстрадал!

Дверь в биллиардную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. (Уходит к себе через залу, за ним Фирс.)

Пищик. Что на торгах? Рассказывай же! Любовь Андреевна. Продан вишневый сад?

Лопахин. Продан.

Любовь Андреевна. Кто купил?

Лопахин. Я купил.

Пауза.

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит.

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал

тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется… (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь… (Звенит ключами.) Ну, да все равно.

Слышно, как настраивается оркестр.

Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь… Музыка, играй!

Играет музыка, Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет.

(С укором.) Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь.

Пищик (берет его под руку, вполголоса). Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна… Пойдем…

(Берет его под руку и уводит в залу.)

Лопахин. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.) За все могу заплатить! (Уходит с Пищиком.)

В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.

Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа… Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда,

пойдем!.. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик. За сценой в глубине гул. Это пришли прощаться мужики.

Голос Гаева: «Спасибо, братцы, спасибо вам».

Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич, народ добрый, но мало понимает.

Гул стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев; она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить.

Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя! Так нельзя!

Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла!

Оба уходят.

Лопахин (в дверь, им вслед). Пожалуйте, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте!

Пауза.

Что ж, господа! Не желаете? (Отходит от двери.) Знал бы – не покупал. Ну, и я пить не стану.

Яша осторожно ставит поднос на стул.

Выпей, Яша, хоть ты.

Яша. С отъезжающими! Счастливо оставаться! (Пьет.) Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.

Лопахин. Восемь рублей бутылка.

Пауза.

Холодно здесь чертовски.

Яша. Не топили сегодня, все равно уезжаем. (Смеется.)

Лопахин. Что ты?

Яша. От удовольствия.

Лопахин. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. (Поглядев на часы, в дверь.) Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.

Трофимов в пальто входит со двора.

Трофимов. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали. (В дверь.) Аня, нет моих калош! Не нашел!

Лопахин. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие.

Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.

Лопахин. Выпей-ка стаканчик.

Трофимов. Не стану.

Лопахин. Значит, в Москву теперь?

Трофимов. Да, провожу их в город, а завтра в Москву.

Лопахин. Да… Что ж, профессора не читают лекций, небось всё ждут, когда приедешь!

Трофимов. Не твое дело.

Лопахин. Сколько лет, как ты в университете учишься?

Трофимов. Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско. (Ищет калоши.) Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощанье один совет: не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки – размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так – это тоже значит размахивать… Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…

Лопахин (обнимает его). Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.

Трофимов. Для чего мне? Не нужно.

Лопахин. Ведь у вас нет!

Трофимов. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. (Тревожно.) А калош моих нет!

Варя (из другой комнаты). Возьмите вашу гадость! (Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)

Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм… Да это не мои

калоши!

Лопахин. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик… попросту.

Трофимов. Твой отец был мужик, мой – аптекарь, и из этого не следует решительно ничего.

Лопахин вынимает бумажник.

Оставь, оставь… Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я свободный человек. И всё, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!

Лопахин. Дойдешь?

Трофимов. Дойду.

Пауза.

Дойду, или укажу другим путь, как дойти.

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.

Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреич, говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год… Только ведь не усидит, ленив очень…

Аня (в дверях). Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада.

Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта… (Уходит через переднюю.)

Лопахин. Сейчас, сейчас… Экие, право. (Уходит за ним.)

Аня. Фирса отправили в больницу?

Яша. Я утром говорил. Отправили, надо думать.

Аня (Епиходову, который проходит через залу). Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу.

Яша (обиженно). Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз!

Епиходов. Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится, ему надо к праотцам. А я могу ему только завидовать. (Положил чемодан на картонку со шляпой и

раздавил.) Ну, вот, конечно. Так и знал. (Уходит.)

Яша (насмешливо). Двадцать два несчастья…

Варя (за дверью). Фирса отвезли в больницу?

Аня. Отвезли.

Варя. Отчего же письмо не взяли к доктору?

Аня. Так надо послать вдогонку… (Уходит.)

Варя (из соседней комнаты). Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.

Яша (машет рукой). Выводят только из терпения.

Дуняша все время хлопочет около вещей; теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему.

Дуняша. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете… меня покидаете… (Плачет и бросается ему на шею.)

Яша. Что ж плакать? (Пьет шампанское.) Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ла Франс![2] Здесь не по мне, не могу жить… ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество – будет с меня. (Пьет шампанское.) Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.

Дуняша (пудрится, глядясь в зеркальце). Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!

Яша. Идут сюда. (Хлопочет около чемоданов, тихо напевает.)

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна.

Гаев. Ехать бы нам. Уже немного осталось. (Глядя на Яшу.) От кого это селедкой пахнет!

Любовь Андреевна. Минут через десять давайте уже в экипажи садиться… (Окидывает взглядом комнату.) Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены! (Целует горячо дочь.) Сокровище мое, ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень?

Аня. Очень! Начинается новая жизнь, мама!

Гаев (весело). В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже… Я банковский служака, теперь я финансист… желтого в середину, и ты, Люба, как-никак, выглядишь лучше, это несомненно.

Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда.

Ей подают шляпу и пальто.

Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. (Ане.) Девочка моя, скоро мы увидимся… Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на

покупку имения – да здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго.

Аня. Ты, мама, вернешься скоро, скоро… не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги… Не правда ли? (Целует матери руки.) Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир… (Мечтает.) Мама, приезжай…

Любовь Андреевна. Приеду, мое золото. (Обнимает дочь.)

Входит Лопахин. Шарлотта тихо напевает песенку.

Гаев. Счастливая Шарлотта: поет!

Шарлотта (берет узел, похожий на свернутого ребенка). Мой ребеночек, бай, бай…

Слышится плач ребенка: «Уа, уа!..»

Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.

«Уа!.. уа!..»

Мне тебя так жалко! (Бросает узел на место.) Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так.

Лопахин. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь.

Гаев. Все нас бросают, Варя уходит… мы стали вдруг не нужны.

Шарлотта. В городе мне жить негде. Надо уходить… (Напевает.) Все равно…

Входит Пищик.

Лопахин. Чудо природы!..

Пищик (запыхавшись). Ой, дайте отдышаться… замучился… Мои почтеннейшие… Воды дайте…

Гаев. За деньгами небось? Слуга покорный, ухожу от греха… (Уходит.)

Пищик. Давненько не был у вас… прекраснейшая… (Лопахину.) Ты здесь… рад тебя видеть… громаднейшего ума человек… возьми… получи… (Подает Лопахину деньги.) Четыреста рублей… За мной остается восемьсот сорок…

Лопахин (в недоумении пожимает плечами). Точно во сне… Ты где же взял?

Пищик. Постой… Жарко… Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину… (Любови Андреевне.) И вам четыреста… прекрасная… удивительная… (Подает деньги.) Остальные потом. (Пьет воду.) Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то… великий философ советует прыгать с крыш… «Прыгай!», говорит, и в этом вся задача. (Удивленно.) Вы подумайте! Воды!..

Лопахин. Какие же это англичане?

Пищик. Сдал им участок с глиной на двадцать четыре года…

А теперь, извините, некогда… надо скакать дальше… Поеду к Знойкову… к Кардамонову… Всем должен… (Пьет.) Желаю здравствовать… В четверг заеду…

Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу.

Пищик. Как? (Встревоженно.) Почему в город? То-то я гляжу на мебель… чемоданы… Ну, ничего… (Сквозь слезы.) Ничего… Величайшего ума люди… эти англичане… Ничего… Будьте счастливы… Бог поможет вам… Ничего… Всему на этом свете бывает конец… (Целует руку Любови Андреевне.) А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую… лошадь и скажите: «Был на свете такой, сякой… Симеонов-Пищик… царство ему небесное»… Замечательнейшая погода… Да… (Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.) Кланялась вам Дашенька! (Уходит.)

Любовь Андреевна. Теперь можно и охать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая – это больной Фирс. (Взглянув на часа.) Еще минут пять можно…

Аня. Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил утром.

Любовь Андреевна. Вторая моя печаль – Варя. Она привыкла рано вставать и работать, и теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и плачет, бедняжка…

Пауза.

Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала… выдать ее за вас, да и по всему видно было, что вы женитесь. (Шепчет Ане, та кивает Шарлотте, и обе уходят.) Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю!

Лопахин. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все… Если есть еще время, то я хоть сейчас готов… Покончим сразу – и баста, а без вас я, чувствую, не сделаю предложения.

Любовь Андреевна. И превосходно. Ведь одна минута нужна, только. Я ее сейчас позову…

Лопахин. Кстати и шампанское есть. (Поглядев на стаканчики.) Пустые, кто-то уже выпил.

Яша кашляет.

Это называется вылакать…

Любовь Андреевна (оживленно). Прекрасно. Мы выйдем… Яша, allez! Я ее позову… (В дверь.) Варя, оставь все, поди сюда. Иди! (Уходит с Яшей.)

Лопахин (поглядев на часы). Да…

Пауза.

За дверью сдержанный смех, шепот, наконец входит Варя.

Варя (долго осматривает вещи). Странно, никак не найду…

Лопахин. Что вы ищете?

Варя. Сама уложила и не помню.

Пауза.

Лопахин. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

Варя. Я? К Рагулиным… Договорилась к ним смотреть за хозяйством… в экономки, что ли.

Лопахин. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.

Пауза.

Вот и кончилась жизнь в этом доме…

Варя (оглядывая вещи). Где же это… Или, может, я в сундук уложила… Да, жизнь в этом доме кончилась… больше уже не будет…

Лопахин. А я в Харьков уезжаю сейчас… вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова… Я его нанял.

Варя. Что ж!

Лопахин. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно… Градуса три мороза.

Варя. Я не поглядела.

Пауза.

Да и разбит у нас градусник…

Пауза.

Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!..»

Лопахин (точно давно ждал этого зова). Сию минуту! (Быстро уходит.)

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Что?

Пауза.

Надо ехать.

Варя (уже не плачет, вытерла глаза). Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду…

Любовь Андреевна (в дверь). Аня, одевайся!

Входят Аня, потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет Епиходов.

Теперь можно и в дорогу.

Аня (радостно). В дорогу!

Гаев. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо…

Аня (умоляюще). Дядя!

Варя. Дядечка, не нужно!

Гаев (уныло). Дуплетом желтого в середину… Молчу…

Входит Трофимов, потом Лопахин.

Трофимов. Что же, господа, пора ехать!

Лопахин. Епиходов, мое пальто!

Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью…

Гаев. Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…

Любовь Андреевна. Все вещи забрали?

Лопахин. Кажется, все. (Епиходову, надевая пальто.) Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке.

Епиходов (говорит сиплым голосом). Будьте покойны, Ермолай Алексеич!

Лопахин. Что это у тебя голос такой?

Епиходов. Сейчас воду пил, что-то проглотил.

Яша (с презрением). Невежество…

Любовь Андреевна. Уедем – и здесь не останется ни души…

Лопахин. До самой весны.

Варя (выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась).

Лопахин делает вид, что испугался.

Что вы, что вы… Я и не думала.

Трофимов. Господа, идемте садиться в экипажи… Уже пора! Сейчас поезд придет!

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. (Со слезами.) И какие они у вас грязные, старые…

Трофимов (надевая калоши). Идем, господа!..

Гаев (сильно смущен, боится заплакать). Поезд… станция… Круазе в середину, белого дуплетом в угол…

Любовь Андреевна. Идем!

Лопахин. Все здесь? Никого там нет? (Запирает боковую дверь налево.) Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..

Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!

Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. (Уходит с Аней.)

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой.

Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа… До свиданция!.. (Уходит.)

Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали.

Гаев (в отчаянии). Сестра моя, сестра моя…

Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Голос Ани (весело, призывающе): «Мама!..»

Голос Трофимова (весело, возбужденно): «Ау!..»

В последний раз взглянуть на стены, на окна… По этой комнате любила ходить покойная мать…

Гаев. Сестра моя, сестра моя!..

Голос Ани: «Мама!..»

Голос Трофимова: «Ау!..»

Любовь Андреевна. Мы идем!..

Уходят.

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно.

Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.

Фирс (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали… (Садится на диван.) Про меня забыли… Ничего… я тут посижу… А Леонид Андреич, небось, шубы не надел, в пальто поехал… (Озабоченно вздыхает.) Я-то не поглядел… Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего понять нельзя.) Жизнь-то прошла, словно и не жил… (Ложится.) Я полежу… Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты… недотёпа!.. (Лежит неподвижно.)

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

Занавес

Человек в футляре

История создания и анализ произведения

Рассказ «Человек в футляре» появился в журнале «Русская мысль» в 1898 году. Позднее появляются и другие произведения так называемой маленькой трилогии: «Крыжовник» и «О любви». Судя по письмам Чехова, он планировал эти рассказы как серию, в которой их должно было быть больше трех. Но план не осуществился: скорее всего, по нездоровью писателя.

По конструкции «Человек в футляре» – это рассказ в рассказе: каждый из трех персонажей выступает в качестве рассказчика, а также слушателя и действующего лица. Таким образом, у автора появляется возможность более глубокого раскрытия по цепочке «случай – история жизни – современные нравы».

Исследователи творчества Чехова говорят о том, что образ человека в футляре – собирательный, у него несколько источников. Записная книжка писателя содержит такое упоминание о «человеке в футляре»: «Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то казалось, улыбался: нашел свой идеал».

Прототипы Беликова:

• инспектор таганрогской гимназии А. Ф. Дьяконов («…это была машина, которая ходила, говорила, действовала, исполняла циркуляры и затем сломалась и вышла из употребления» – *брат писателя, М. П. Чехов о Дьяконове*);

• известный публицист М. О. Меньшиков («М. в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на замирание сердца» – *Чехов в одном из своих дневников*);

• Иван Чехов, брат писателя, педагог («Он, то есть Иван, немножко поседел и по-прежнему покупает всё очень дешево и выгодно и даже в хорошую погоду берет с собой зонтик» – *А. П. Чехов в письме*).

Скорее всего, образ человека в футляре складывался, «дописывался» постепенно. Рассказ «Человек в футляре» появился после почти полугодового молчания Чехова, когда публика и критика успели «соскучиться» по Чехову, поэтому рассказ был встречен бурно. Выражение «Человек в футляре» сразу же стало нарицательным в русском языке, так называют одинокого человека, который закрывается от всего мира, создавая вокруг себя оболочку, «футляр».

Учитель Беликов и сейчас живет в Таганроге… правда, в виде

скульптуры. Согнувшись и закрыв лицо от любопытствующих воротником шинели, бронзовый Беликов идет мимо здания бывшей гимназии, где когда-то учился Чехов. Ныне в здании располагается Литературный музей А. П. Чехова, и скульптура прекрасно дополняет экспозицию музея.

Еще один памятник герою рассказа установлен в Южно-Сахалинске, в сквере у Сахалинского международного театрального центра в 2013 году.

Всё, что символизирует «футляр» Беликова – ограниченность, пошлость, страхи, закрепощённость во всём – можно победить. Смерть Беликова и есть символ победы. Что же помогло справиться с «футляром»? Любовь и смех. Вот оружие, которое даёт сама жизнь.

Персонажи «Маленькой трилогии»:

Иван Иваныч Чимша-Гималайский – ветеринарный врач, дворянин. Высокий худой старик с длинными усами.

Буркин – учитель гимназии и товарищ И. И. Чимши-Гималайского. Рассказывает историю про Беликова.

Герои рассказа Буркина:

Беликов – учитель греческого языка. Работал вместе с Буркиным в гимназии. Любимая его фраза: «Кабы чего не вышло».

Повар Афанасий – старик 60 лет. Нетрезвый и полоумный слуга Беликова.

Михаил Саввич Коваленко – учитель истории и географии. Молодой, смуглый, высокий мужчина.

Варенька – возлюбленная Беликова, 30 лет. Сестра Коваленко. Высокая, стройная, чернобровая, краснощекая девушка.

Характеристика персонажей (цитатный материал)

Беликов

«Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко». (*Рассказчик*)

* * *

«Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. (*Рассказчик*)

* * *

«Не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая». (*Коваленко*)

* * *

«Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники, – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление». (*Рассказчик*)

* * *

«На педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными

соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, – ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло». (*Рассказчик*)

* * *

«Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью». (*Рассказчик*)

* * *

«Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город!» (*Рассказчик*)

* * *

Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! (*Рассказчик*)

* * *

Все это прекрасно, да как бы чего не вышло. (*Беликов*)

* * *

Женишься, а потом чего доброго попадешь в какую-нибудь историю. (*Беликов*)

Варенька

А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! (…) Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова. (*Иван Иваныч*)

О жизни

Хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли? Прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! Разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно! (*Иван Иваныч*)

Сюжет рассказа «Человек в футляре»

Двое охотников: Иван Иваныч Чимша-Гималайский и Буркин, остановившись на ночлег на краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, скрашивают время, рассказывая друг другу истории. Задав общую тему – про людей, «одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу», приятели вспоминают подходящие случаи из жизни. Буркин рассказывает историю об учителе Беликове, недавно умершем в его городке. Беликов – «Человек в футляре». Он даже в самую теплую погоду выходил в пальто, в галошах и с зонтиком. И у зонтика его был футляр, и у часов, и у перочинного ножика. И само его лицо, казалось, было в чехле, он постоянно прятал его за воротником.

Беликов волновался всякий раз, когда ему приходилось выходить из своего футляра: он боялся нововведений, исключений из правил: «Как бы чего не вышло». Его мнительность и страхи подавляюще действовали на окружающих: все его боялись и уступали, не выдерживая его брюзжания. Даже сам язык, который он преподавал, – древнегреческий – относится к разряду мертвых: это историческое явление, на нем давно уже не разговаривают.

В один прекрасный день в гимназию приезжает новый учитель истории и географии, а с ним – сестра Варенька, чернобровая красавица 30-ти лет. Варенька нравится всем, и даже Беликову, и вот директрисе приходит на ум идея поженить их. И завертелось: совместные приглашения Беликова и Вареньки на спектакли, намеки и прямые разговоры о пользе женитьбы… Вареньке 30 лет, она «засиделась» в девушках, кроме того, в силу взрывного характера обоих у них постоянно вспыхивали ссоры. Она готова идти замуж и за Беликова. Со стороны «человека в футляре» начинаются долгие рассуждения о важности такого шага, как брак, об ответственности. За многословием легко угадывается обычный страх Беликова, «как бы чего не вышло».

Следует сказать, что брат Вареньки возненавидел Беликова с первого дня их знакомства, быстро раскусив его характер.

Однажды неизвестный художник нарисовал карикатуру: идёт Беликов, а под руку с ним Варенька и внизу надпись: «Влюблённый антропос». Эту карикатуру получили все учителя и чиновники. Беликов тяжело перенес насмешку над собой. Не успев отойти от первого удара, он сразу же получает и второй, увидев Вареньку с братом, катающихся на велосипедах. Беликов цепенеет и бледнеет, катание дамы на велосипеде ему кажется в

высшей степени неприличным. На следующее утро он приходит к Коваленко и начинает разговор о приличиях; поскольку аргументы самого Беликова эффекта не возымели, из его уст звучит: «Я должен буду доложить». Коваленко вспыхивает, обзывает Беликова фискалом и спускает с лестницы. Пришедшая Варенька застает Беликова уже внизу лестницы, невредимого, но порядком помятого. Плачевный вид учителя древнегреческого вызывает у нее заливистый смех. Этот смех ставит финальную черту и под сватовством, и под самой жизнью Беликова. Он уходит к себе домой, убирает со стола портрет Вареньки, ложится и больше не встает. Через месяц Беликов умер. Хоронили его все, а после похорон испытывали не грусть, а облегчение. В конце рассказа приятели рассуждают о людях в футляре и ложатся спать.

Критики и читатели о рассказе

«Начатая с улыбкой на устах комическая история досказывается серьезным голосом, в котором слышится легкое дрожание. Самый фон картины становится сумрачным и торжественно-величавым» (*А. А. Измайлов. «Биржевые ведомости», 1898*).

«Рассказ бессодержателен, плох, но обойти его молчанием нельзя, потому что в нем с чрезвычайною ясностью раскрываются основные недостатки писателя, умеющего воспроизводить лишь внешние стороны житейских явлений» (*К. Медведский. Литературные заметки. Нечто о г. Чехове и «футлярах». «Московские ведомости», 1898*).

«В зазоре между Беликовым из рассказа Буркина и Беликовым из рассказа Чехова – Пустота. Пустота – одно из имен Человека в футляре, его тайна, его загадка. Гипертрофированно-унылое социально-культурное при немощи естественного, гротескное тело политического, его злая пародия, вдруг превратившийся в шпиона шут с важным донесением. Если следовать логике мифа, сообщение Беликова должно быть действительно важным» – (*А. Л. Бокшицкий*).

«Вчера после прочтенья «Человека в футляре» я более двух часов говорил об этом гнетущем, только в России возможном явлении, только, знаете, столица Вас плохо поймет, а провинция будет бесконечно благодарна, и хоть действия мало, а хорошо бы запечатлевать в умах людей такие типы и сцены» (*В. Г. Вальтер. Письмо, 1898. ГБЛ; Из архива Чехова*, стр. 165).

«Такие рассказы, как Ваш «Человек в футляре», хорошо будят, расталкивают (как и сильное описание провинции в «Моей жизни») ‹…› Всегда с таким приятным душе предчувствием раскрываешь книгу, где Ваша новая вещь» (*И. И. Горбунов-Посадов, письмо,* 1898 г. – *ГБЛ*).

«Успел в день приезда в Москву прочесть твою июльскую повесть «Человек в футляре» ‹…› Уж очень коротко пишешь, ей-богу. Не говорю уже, как редко! Ведь это хвостик, этюд. И так читать почти нечего, а тут набредешь на что-нибудь живое, чуть разлакомишься – хлоп, конец» (*А. И. Сумбатов (Южин). Письмо, 1898. ГБЛ*).

«И когда я читала последние Ваши вещи – «Человека в футляре», и «Любовь», и «Ионыча» – я подумала: господи, ведь вот оно, вот то страшное и темное, что может со всяким человеком случиться – вот как просто и незаметно из него душа живая уходит» (*Н. Круковская, читательница, письмо, 1898. ГБЛ*).

«Ничтожество он (*Беликов*), а не сила», – говорили они (*участники литературного спора*). Но в ничтожестве его – его и сила, сила, потому что у него ничтожество, а у людей, с которыми он живет, ни величины, ни ничтожества… ничего… хоть «шаром покати». Со дня рождения его держали под крышкой, под колпаком, давили его… и задавили в нем всё человеческое, живое (жизнь задавили, замерла она в нем!), и это давление создало силу… сумма давлений – его сила… они отложились в нем, как в земле откладываются пластами каменные породы, и образовали искреннее, глубокое, твердое, святое убеждение, что так надо жить, что его нравственный, священный долг так действовать… это его религия… он этим и покорил себе всех… победил своею прямолинейностью… слепотой… ничтожеством… убежденностью, искренностью…

‹…› Они говорят, что «он – солдат с ружьем» – «отнимите ружье и куда его сила девалась?». Его ружье, говорят они, «циркуляр». Но разве у него можно отнять циркуляр, это значит – отнять жизнь.

‹…› У них чувство брезгливости к Беликову ‹…› а у меня… мне страшно, страшно за человека делается» (*О. А. Смоленская, письмо. ГБЛ; «Филологические науки», 1964*).

«Вся Россия показалась мне в футляре». «Дайте же нам что-нибудь такое, в чем была бы хоть одна светлая точка и что хоть сколько-нибудь ободряло бы и примиряло с жизнью» (*Н. Кончевская, письмо, 1900. ГБЛ*).

«Г. Чехов не только нарисовал в нескольких чертах живой образ, но еще захотел изнутри осветить его, дать его психологическую формулу. Все черты Беликова, все его привычки и убеждения и поступки автор сводит к одному мотиву – к страху перед действительной жизнью ‹…› Судя по тону рассказа, автор в хохочет, и жалеет, и негодует, и, в конце концов, совершенно спокойно отходит от своего героя, бесстрастно прощается с ним, как с попутчиком по вагону» (*Н. Минский. Литература и искусство, – «Новости и биржевая газета», 1898*).

«В произведениях г. Чехова, относящихся к последнему времени, чаще стало проглядывать умение обобщать наблюдения и переносить таким образом постановку вопроса с индивидуальной, случайной почвы на почву общественных отношений ‹…›. Таков «Человек в футляре». Это одно из лучших произведений г. Чехова, и представляет оно собою осязательный протест против «формы», выедающей живое содержание» (*Ал. Потапов. А. П. Чехов и публицистическая критика. – «Образование», 1900*).

«Есть что-то в последних произведениях г. Чехова, что углубляет их содержание, быть может, помимо воли самого автора, придает им какую-то терпкость и остроту, волнует и причиняет острую боль читателю» *(А. И. Богданович. «Мир божий», 1898)*.

«Кому не знаком этот жалкий, ничтожный, плюгавенький и в то же время страшный «человек в футляре», для которого жизнь свелась к отрицанию жизни? Он, как кошмар, давит всё живое, сдерживает проявление всякого общественного, альтруистического движения своим мертвящим припевом – «как бы чего не вышло». Эта ходячая пародия на человека изображена автором с поразительным совершенством, что при необычайной естественности и простоте, с какою написан весь рассказ, делает эту фигуру почти трагическою» (*там же*).

«(Беликов) – мастерски написанный портрет, вдумываясь в который чувствуешь, какая глубокая правда лежит в его основе. Беликов – это сама жизнь, та житейская тина, болото, с которым приходится иметь дело на каждом шагу, которое всё затягивает, всё грязнит и душит в своей вонючей грязи. Беликов – это общественная сила, страшная своей неуязвимостью, потому что она нечувствительна, недоступна человеческим интересам, страстям и желаниям ‹…› Вся сила Беликова ‹…› в окружающей среде, в слабости ее, в расплывчатости нравственных и всяких других устоев, в бессознательности подлости, составляющей общественную основу той жизни, где процветают Беликовы» (там же).

«Нет, больше жить так невозможно! – таков рецепт г. Чехова современному читателю. Это он, современный читатель, насмотревшись разных несчастных случаев, бывающих в жизни, и наслушавшись рассказов о душевных и нервных болезнях, поражающих человечество, должен вдруг остановиться и сказать:

нет, больше жить так невозможно. И сказав, – или повеситься на первом попавшемся крюке, или обратиться к г. Чехову и спросить: а как жить, уважаемый маэстро? Неизвестно, как бы ответил этому читателю г. Чехов, если бы тот на деле обратился к нему с таким вопросом; но в сочинениях своих он этого ответа не дает…» (*Е. А. Ляцкий. «Вестник Европы», 1904*).

«…художественные опыты» (Чехова): это именно – унылая скорбь, внушаемая созерцанием современной жизни и исследованием души современного человека, и всё яснее сказывающееся в последних вещах Чехова («Человек в футляре», «Случай из практики» и др.) художественное прозрение в лучшее будущее, может быть, далекое, для нас недоступное, и, наконец, рядом с этим прозрением, робко радостное, едва мерцающее, как бы предчувствие грядущих поколений – счастливых, переросших всё узкое, всё пошлое и мелко злобное, что так обезображивает душу человека, и живущих полною, широкою жизнью ума и чувства» (*Д. Н. Овсянико-Куликовский. Наши писатели. (Литературно-критические очерки и характеристики). I. А. П. Чехов. – «Журнал для всех», 1899*).

Полный текст рассказа «Человек в футляре»

А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах
Сочинения в восемнадцати томах. Том десятый
МОСКВА – 1986
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

– Что же тут удивительного! – сказал Буркин. – Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает? Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и

непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: – Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено – и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

– Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, – ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, – и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на

бледном, маленьком лице, – знаете, маленьком лице, как у хорька, – он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте…

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

– Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели… То-то вот оно и есть.

– Беликов жил в том же доме, где и я, – продолжал Буркин, – в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, – пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохом:

– Много уж *их* нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело;

слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие…

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.

– Очень уж шумят у нас в классах, – говорил он, как бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. – Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

– Шутите!

– Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу… А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

– Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

– А хорошо бы их поженить, – тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и

нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

– Ему давно уже за сорок, а ей тридцать… – пояснила свою мысль директорша. – Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим – в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

– Да ты же, Михайлик, этого не читал! – спорит она громко. – Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

– А я тебе говорю, что читал! – кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

– Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

– А я тебе говорю, что я читал! – кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами,

или вдруг зальется:

– Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все – и товарищи, и дамы – стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, – голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

– Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, – проговорил Иван Иваныч.

– Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

– Варвара Саввишна мне нравится, – говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, – и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но… всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг… Надо подумать.

– Что же тут думать? – говорю ему. – Женитесь, вот и всё.

– Нет, женитьба – шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность… чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalischeSkandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

– Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками:

– Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

– Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники, – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, – это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, – выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

– Какие есть нехорошие, злые люди! – проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

– А мы, – кричит она, – вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня…

– Позвольте, что же это такое? – спросил он. – Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

– Что же тут неприличного? – сказал я. – И пусть катаются себе на здоровье.

– Да как же можно? – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. – Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он всё время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

– Садитесь, покорнейше прошу, – проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

– Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем… Я не подавал никакого повода к такой насмешке, – напротив же, всё время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

– И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

– Почему же? – спросил Коваленко басом.

– Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!

– Что же собственно вам угодно?

– Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя… Что же хорошего?

– Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого

дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

– Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил Коваленко, глядя на него со злобой. – Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

– Можете говорить, что вам угодно, – сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. – Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора… в главных чертах. Я обязан это сделать.

– Доложить? Ступай, докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – нарисуют новую карикатуру, и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку…

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

– Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо

ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет – и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут пли хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!

– То-то вот оно и есть, – сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

– Сколько их еще будет! – повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

– Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Всё было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка,

печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

– То-то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

– Нет, уж пора спать, – сказал Буркин. – До завтра!

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп… Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп… Собаки заворчали.

– Это Мавра ходит, – сказал Буркин.

Шаги затихли.

– Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!

– Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, – сказал учитель. – Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч всё ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

Дама с собачкой

История создания и анализ произведения

Впервые рассказ издан в журнале «Русская мысль» в 1899 году, с подписью: Антон Чехов. Это первое произведения после года молчания и вызвало оно, как обычно, большой интерес читателей и критики.

Место действия – Ялта, курорт на побережье Крыма, где Чехов находился по предписанию врачей. Писатель много путешествовал по живописным окрестностям Ялты. В рассказе упоминаются реально существовавшие скамья и церковь, водопад Учан-Су, ресторан в ялтинском городском саду, магазин японских изделий.

Кто же послужил прообразом Дамы с собачкой? Надо сказать, множество ялтинских дам хотели бы поспорить за эту роль. Скорее всего, этот образ – собирательный: увидев на ялтинской набережной даму с маленькой собачкой, Чехов зафиксировал в памяти (и в записной книжке) эту картинку, а позже дополнил образ внешними деталями и вложил смысл, требуемый по его писательской «задумке». Надо сказать, что в период работы над рассказом развивались отношения с будущей женой писателя, так что и личные ощущения вплелись в канву «Дамы с собачкой».

В рассказе примечательны изменения Гурова, его рост. На первых страницах рассказа это скучающий отдыхающий, любитель приключения, интрижки, а в финале он вырастает до истинно любящего. Серьезное чувство посетило его впервые в жизни в сорокалетнем возрасте. Финал рассказа открыт, а это значит – мы не можем сказать точно, как сложилась дальнейшая судьба героев. Однако положительно уже то, что герои оказались обладателями истинной ценности – взаимной любви.

Содержание рассказа «Дама с собачкой»

На ялтинской набережной среди отдыхающих появляется новое лицо: дама с собачкой. Москвич Гуров, скучающий в праздности на отдыхе, ищет удобного случая познакомиться с молодой дамой. Гуров почти не скрывает, что ищет приключения, легких отношений, и притом без продолжения. Сам он женат и имеет троих детей, в браке несчастлив.

Довольно скоро он сближается с Анной Сергеевной, молодой замужней женщиной, для которой их связь – вовсе не приключение. Анна Сергеевна испытывает угрызения совести, но разорвать связь не может, так как очень быстро привязывается к Гурову. В браке она также несчастлива: хоть он и богат, и известен в городе, но в нем она видит что-то лакейское и оттого не уважает. Браки обоих имеют сходство в том, что были заключены не по любви: Гурова «рано женили», а Анну Сергеевну «томило любопытство».

Курортный роман развивается на фоне величественной крымской природы, а прерывается внезапно письмом мужа Анны Сергеевны, которым он вызывает ее домой. Любовники расстаются с мыслью, что больше не увидятся, и это будет правильно.

Картины природы сменяются описанием московского житья Гурова: дом, семья, клуб. Почему-то курортный роман не уходит, как прошлые связи, в историю, оставив лишь несколько воспоминаний. Напротив, ялтинские картины четко стоят перед мысленным взором Гурова, он думает об Анне Сергеевне, ищет глазами похожую фигуру в толпе.

Тяжело то, что герою не с кем поделиться своими чувствами, ибо они под запретом. Пробуя найти слушателя в знакомом по клубу, Гуров начинает было рассказ об истории любви, но первая же ответная реплика («… осетрина-то с душком») убивает в нем желание говорить дальше.

В смятении наш герой едет в город, где живет любимая, не имея четкого плана действий. Легко найдя дом, где живет Анна Сергеена, Гуров отмечает наличие длинного серого забора с гвоздями. В каждой детали чувствуется тоска (серость) ее жизни. Встретившись в театре, герои решают видеться в Москве, куда Анна Сергеевна иногда приезжает под вымышленным предлогом консультации с доктором.

Внутреннее состояние Гурова кардинальным образом отличается от того, что было на первых страницах рассказа. Скучающий отдыхающий, любитель приключения, интрижки, в

финале он вырастает до истинно любящего. Серьезное чувство посетило его впервые в жизни в сорокалетнем возрасте.

Финал «Дамы с собачкой» открыт, что будет дальше – предстоит лишь догадываться.

Характеристика героев (цитатный материал)

Гуров

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

– Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. (Автор)

* * *

(…) он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома… (Автор)

* * *

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него всё очарование. Мало-помалу он окунулся в

московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке… (*Автор*)

* * *

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. (*Автор*)

* * *

У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи, – всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. (Автор)

Анна Сергеевна

Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь… (Автор)

* * *

(…) она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где

живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. (Автор)

* * *

Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать. (Гуров)

* * *

Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить… Любопытство меня жгло… вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда… И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная… и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. (Сама о себе)

* * *

– Верьте, верьте мне, умоляю вас… – говорила она. – Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый. (Сама о себе)

* * *

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее

человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. (Автор)

* * *

Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! (Сама о себе)

Любовь Гурова и Анны Сергеевны

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома – не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

– Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

* * *

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

* * *

Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любила. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему – первый раз в жизни. (Автор)

* * *

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Об окружающей героев действительности

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

– Дмитрий Дмитрич!

– Что?

– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

* * *

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Полный текст произведения «Дама с собачкой»

А. П. Чехов. Сочинения в восемнадцати томах. Том десятый. М. – «Наука», 1986

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, – то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

– Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и

самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно.

И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь… В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

– Он не кусается, – сказала она и покраснела.

– Можно дать ему кость? – И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: – Вы давно изволили приехать в Ялту?

– Дней пять.

– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! – сказала она, не глядя на него.

– Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла

золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома… А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, всё равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, – должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер

стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

– Погода к вечеру стала получше, – сказал он. – Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

– Пойдемте к вам… – проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, – как, например, его жена, – которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут всё та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, – так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

– Нехорошо, – сказала она. – Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

– Отчего бы я мог перестать уважать тебя? – спросил Гуров. – Ты сама не знаешь, что говоришь.

– Пусть бог меня простит! – сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. – Это ужасно.

– Ты точно оправдываешься.

– Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить… Любопытство меня жгло… вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда… И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная… и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

– Я не понимаю, – сказал он тихо, – что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

– Верьте, верьте мне, умоляю вас… – говорила она. – Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

– Полно, полно… – бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

– Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц, – сказал Гуров. – Твой муж немец?

– Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на Агоре и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний

туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек – должно быть, сторож, – посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

– Роса на траве, – сказала Анна Сергеевна после молчания.

– Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и всё просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

– Это хорошо, что я уезжаю, – говорила она Гурову. – Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

– Дайте, я погляжу на вас еще… Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

– Я буду о вас думать… вспоминать, – говорило она. – Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно всё сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание… Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но всё же в обращения с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Всё время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее…

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне па север, – думал Гуров, уходя с платформы. – Пора!»

III

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и

море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него всё очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке…

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти всё было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались всё сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее…

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома – не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

– Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим

партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

– Дмитрий Дмитрич!

– Что?

– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, – и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме – это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и всё равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он всё ходил по улице и около забора поджидал

этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил и всё больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как всё это глупо и беспокойно, – думал он, проснувшись и глядя на темные окна; был уже вечер. – Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой… Вот тебе и приключение… Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», – думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Всё вреда, пока публика входила и занимала места, Гуров жаден искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой

человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

– Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он – за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то опускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал:

«О господи! И к чему эти люди, этот оркестр…»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что всё кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.

– Как вы меня испугали! – сказала она, тяжело дыша, всё еще бледная, ошеломленная. – О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

– Но поймите, Анна, поймите… – проговорил он вполголоса, торопясь. – Умоляю вас, поймите…

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

– Я так страдаю! – продолжала она, не слушая его. – Я всё время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было всё равно, он привлек к себе Анну Сергеевну

и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

– Что вы делаете, что вы делаете! – говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. – Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас… Заклинаю вас всем святым, умоляю… Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

– Вы должны уехать… – продолжала Анна Сергеевна шёпотом. – Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда всё утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, – и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

– Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, – говорил Гуров дочери. – Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

– Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что

составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи, – всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

– Ну, как живешь там? – спросил он. – Что нового?

– Погоди, сейчас скажу… Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», – подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю и потом, когда пил чай, она всё стояла, отвернувшись к окну… Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

– Ну, перестань! – сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и

которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любила. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему – первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным…

– Перестань, моя хорошая, – говорил он. – Поплакала – и будет… Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?

И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

Критика и читатели о «Даме с собачкой»

«Чёрт возьми, как хорошо Антоний написал «Даму с собачкой», – так же хорошо, как я пишу картины» (*И. И. Левитан*).

«Читал «Даму» Вашу. Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время – факт! Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете» (*М. Горький*).

«Вчера, на Новый год, прочел «Даму с собачкой». Как ласковы Вы к людям! Еще не страшно жить на свете, коли чувствуешь, что есть сердца, расположенные ко всяким тяготам, которые налагает жизнь на людей!»

«Живя в «Славян<ском> базаре», я всё ходил по коридорам и глядел на двери номеров, всё думал, не здесь ли встречались Дм. Дм. Гуров и Анна Сергеевна фон Дидериц. Трудно мне отрешиться от мысли, что их и не было никогда» (*Б. А. Лазаревский*).

«Вы оставили своих героев, так сказать, в самую критическую пору их жизни, когда надо принять какое-нибудь решение, а какое? Вот трудный вопрос. Писать продолжение этого рассказа Вы, пожалуй, не захотите, так будьте добры, черкните несколько слов, как бы Вы поступили, будучи на месте Гурова ‹…› как бы Вы разрешили эту запутанную историю ‹…› В жизни людей так часты подобные безвыходные положения, в особенности в семейной жизни; так Ваша повесть попадет многим в цель, а потому очень интересно, даже важно узнать от такого сердцеведца, как Вы ‹…› как устроить свое счастье так, чтобы никто от этого не был несчастлив». (*«Всегдашняя почитательница» из Петербурга, С. С. Ремизова*)

«Читал Даму с собачкой Чехо<ва>. Это всё Ничше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т. е. почти животные» (*Л. Н. Толстой*).

«Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Нет тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. Действие в Ялте.

Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-ловелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину, и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли!» (*24 декабря 1899 г. – «Из дневника Н. А. Лейкина»*).

«Та самая паутина обычаев, приличий, толков, пересудов, косых взглядов, двусмысленных улыбок, родственных опал, расстройства служебных отношений и положений, паутина, сквозь которую без труда проходят крупные мухи, для мелких оказывается непроходима. Остается только хвататься за голову, чувствовать себя несчастными, терзаться сознанием своего бессилия, своего ничтожества и пресмыкаться весь век в таком безвыходно-фальшивом и нелепом положении, в котором пришлось путаться нашим героям». «(Драма –) в отсутствии борьбы, в бессилии героев на мало-мальски смелый и решительный шаг» (*А. Скабичевский. Текущая литература. – «Сын отечества», 1900*).

«Хочется думать, что такие шедевры, как «В овраге», «Дама с собачкой», «Архиерей» – только первые попытки осветить жизнь с новой точки зрения» (*М. Н. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. – «Мир божий», 190*0). Он определял Чехова как гуманиста, которого «любовь ко всему человеческому и прекрасному в жизни» вывела «на широкий простор» (*там же*). Приводя в пример рассказы «О любви», «Дама с собачкой», «Архиерей», Альбов замечал, что Чехов идет по пути глубокого проникновения в жизнь и что «даже такую избитую тему, как любовь, г. Чехов, верный своей новой точке зрения, сумел изобразить оригинально». Новое в «Даме с собачкой», по мнению Альбова, состоит в показе «процесса нравственного перерождения человека» (*там же*).

Андреевич (Е. А. Соловьев), анализируя рассказ «Дама с собачкой», писал, что на жизнь человечества Чехов смотрит с «космической точки зрения». Андреевичу Чехов представлялся сатириком во взгляде на жизнь, «в которой люди играют какую-то странную и обидную для их самомнения роль». По мнению Андреевича, Чехов ищет смысла жизни, и «удивительные произведения вырастают па почве этою искания» (*Андреевич. Очерки текущей русской литературы. Искание смысла жизни. – «Жизнь», 1900*).

Волжский (А. С. Глинка) объяснял беспощадное изображение

жизни высоким нравственным идеалом писателя: «…идеал Чехова, «живой бог» его недосягаемо высок, потому-то и действительность, изображаемая в чеховских произведениях, так ничтожна – жалка, убога, сера и бесцветна…» Идеализм Чехова, по мнению Глинки, – в «непримиримом протесте против действительности» (*Волжский. Очерки о Чехове*).

«По своему довольно минорному настроению новая вещица талантливого беллетриста не представляется исключением в ряде позднейших его произведений. И как почти всякое из последних, рассказ отмечен чертами созревшего таланта и производит впечатление, в особенности второю, более сильно написанною половиной» (*А. А. Измайлов. «Биржевые ведомости», 1900*).

«Я не вижу здесь даже и того начала, которое руководило при разрушении семьи Анной Карениной ‹…› жертва принесена во имя животной страсти, вследствие непонимания святости семейных обязанностей, во имя привычки возводить вспышки своей страсти до пределов закона природы» (*Ф. Е. Пактовский. Современное общество в произведениях А. П. Чехова*).

«Нельзя же, в самом деле, называть хорошим человека, который то и дело обманывает жену, склонен разрушать правильную семейную жизнь, ставит из-за прихоти в ложное, крайне тягостное положение своих детей, относится очень поверхностно к своим общественным обязанностям и находит единственное развлечение и удовольствие только в любовных интригах. (…) Но если присмотреться к этой, столь важной и интересной жизни, как ее описывает г. Чехов, то, боже великий, как она в сущности мелка, неинтересна и излишня!» (*«Что нового в литературе?» Критические очерки Р. И. Сементковского. – «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1900 г.»*).

«Автор не разрешает ничем вопроса, предлагаемого героем рассказа себе самому, и вместе с этим, стало быть, не разрешает и вопроса о том, драма или только «водевиль с собачкой» всё то, что переживают его герои с их встречи в Ялте и до их встречи в Москве. Я склонен думать, что это водевиль, который и ялтинские любовники (мимоходом заметим, отнюдь не похожие на веронских любовников Шекспира), и г. Чехов ошибочно принимают за драму. Я склонен тоже думать, что в этой ошибочной точке зрения героев и их автора и заключается главный недочет рассказа».

«(Рассказ) все-таки не более как этюд, и притом отрывочный, представляющий как будто бы начало, первые главы ненаписанного романа».

«Этюдность эта, очевидно, во вкусе времени и нравится большинству, толпе, и, быть может, даже и иным теперешним ценителям и судьям». (*В. Буренин. Критические очерки*).

«Конечно, этот рассказ – отрывок; он даже ничем не заканчивается, и его последние строки только наводят на мысль о какой-то предстоящей жестокой драме жизни» (*Андреевич. Очерки текущей русской литературы. Искание смысла жизни. – «Жизнь», 1900*).

«Хотя фабула рассказа обрывается на выдвинутой автором дилемме, однако смысл ее очевиден: или постепенное разрушение, медленное умирание в оболочке лжи, обмана, условной морали; или нужно разорвать эту оболочку, как что-то «ненужное, легкое и обманчивое» и освободить «сдавленное ею зерно жизни»» (*М. Н. Альбов. «Мир божий». 1903*).

«Смерть чиновника»

История создания

«Смерть чиновника» относится к числу ранних рассказов Чехова; впервые он был напечатан в журнале «Осколки» в 1883 году, под заголовком «Случай». У короткого рассказа «Смерть чиновника» есть целых два источника из реальной жизни. Первый – театральный, Чехов узнал о нем от Владимира Бегичева, который в прошлом управлял московскими императорскими театрами. В Большом театре один человек, чихнув, обрызгал другого и на следующий день пришел извиняться. Эти люди не были знакомы.

Второй случай, возможно, имевший отношение к идее «Смерти чиновника», произошел в Таганроге: в январе 1882 года один из таганрогских чиновников, после неудачной попытки попросить извинения у начальника за какое-то незначительное нарушение, совершил самоубийство.

Краткое содержание и анализ произведения

В центре рассказа – ситуация, которая и не стоила бы целого рассказа, и даже упоминания, если бы в этой ситуации не высветились в беспощадном свете сатиры характеры героев. Точнее, одного героя – чиновника Червякова.

Уже по фамилии чиновника мы можем судить о его характере – это классический в русской литературе «маленький человек», пресмыкающийся и не очень-то приятный. Обиженный ли он? Посмотрим сами.

Должность Червякова – экзекутор – хозяйственный исполнитель «при канцелярии или присутственном месте». Хоть звания он невысокого, но материально вполне обеспечен: у него есть возможность посещать театр, в придачу к обычному вицмундиру имеется новый (иначе автор не стал бы подчеркивать, что на встречу с генералом чиновник надел именно новый). Мы делаем вывод, что материальной нужды Червяков не испытывает и социально он не унижен. Кто же заставляет Червякова быть таким «червём»?

Во время театрального представления чиновник Червяков чихнул и случайно обрызгал статского генерала Бризжалова. Разглядев, что генерал обтирает перчаткой лысину и шею, Червяков не на шутку взволновался. Хоть генерал был не его начальником, а «чужим», все-таки Червяков решает извиниться.

Генерал не воспринимает случившееся всерьёз, даже от извинений отмахивается, и это усиливает беспокойство Червякова: ему кажется, что генерал не хочет с ним разговаривать, хоть втайне и сердится. Рациональной причины для беспокойства нет, однако чиновник продолжает раз за разом третировать Бризжалова извинениями, пока наконец не на шутку рассерженный генерал срывается и не прогоняет Червякова вон. Услышав крик, потрясенный Червяков приходит домой, не снимая вицмундира, ложится на диван и помирает.

Так кто же пострадавший в рассказе «Смерть чиновника»? Похоже, что генерал: никак не мог отделаться от назойливого чиновника с его извинениями. Мастерски выписанные диалоги показывают возрастающий градус смятения с одной стороны, раздражения – с другой, и к тому же тотальное непонимание сторонами друг друга.

«Маленький человек» Червяков не вызывает жалости, потому что унижает он себя сам. В рассказе не показано его человеческая

уникальность, что называется, его лицо. Даже в заголовок вынесен не человек, а чиновник. После того как Червяков обрызгал генерала, его действия таковы: сконфузился, начало помучивать беспокойство, поборовши робость, пробормотал, спросил шёпотом, млея от ужаса, в животе что-то оторвалось, попятился к двери, вышел на улицу и поплелся, придя машинально домой, помер. Мы видим действия не человека, а некоего механизма, который раз за разом пробует достичь определенной цели. Однако цель не достигается, и он продолжает бессмысленные попытки. Кажется, что, скажи генерал в ответ на бормотание чиновника другие слова, тот бы наконец отстал. Но какие это слова? Может, дело в том, что Бризжалов не подтверждает серьезность ситуации? Он отмахивается от Червякова, как от назойливого насекомого, и не видит в нем того, кто заслуживает внимания. А ведь основной инстинкт чиновника говорит ему: «Поклоняйся вышестоящему, уважай **персоны**». Однако вышестоящая персона не желает принимать «уважение», и Червяков не может функционировать дальше, не может жить. Машина сломалась. Чиновник помер.

Полный текст рассказа «Смерть чиновника»

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

– Извините, ваше – ство, я вас обрызгал… я нечаянно…

– Ничего, ничего…

– Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, ваше – ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…

– Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к

происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше – ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…

– Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше – ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше – ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше – ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с…, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.

Иоыч

История создания и краткий анализ

Впервые – в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу «Нива»», 1898, № 9. История создания рассказа нашла отражение в записных книжках Чехова. Первые записи появляются с августа 1897 г.: «Серьезный мешковатый доктор влюбился в девушку, которая очень хорошо танцует, и, чтобы понравиться ей, стал учиться мазурке»; «От кредитных бумажек пахло ворванью». Затем в марте-апреле 1898 г.: «Мальчик-лакей: умри, несчастная!»; «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное римское право».

Писатель облегчил исследователям творчества работу над рассказом «Ионыч»: в его записной книжке имеется заметка, датированная августом 1897 г.: «От кредитных бумажек пахнет ворванью». Ни у кого не вызывает сомнения, что эта заметка относится к будущему рассказу «Ионыч»: к той поре жизни доктора, когда он, пухлый, красный, словно языческий идол, объезжает с визитами больных и вечером с удовольствием выкладывает на стол бумажки, заработанные практикой. Вот так дурно могут пахнуть деньги. Но почему? Разве практика врача – не честный и благородный труд?

Ведь начинал молодой врач с трудов на любимом поприще, его увлеченность медициной имела даже жертвенный характер: в ущерб светской, личной жизни. К тому же Старцев – изначально земский врач, то есть, по понятиям того времени, сельский, областной. Условия жизни и труда земских врачей были непростыми, а доход – невысоким, а значит, в земстве (местном самоуправлении) служили либо совсем молодые врачи, либо идейные, либо просто очень любящие свое дело.

Листая записные книжки Чехова (с помощью книги Напорного «Записные книжки Чехова»), натыкаемся на запись о семье Филимоновых: «Филимоновы талантливая семья, как говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит («здравствуйте пожалуйста»), она пишет либеральные повести, имитирует: «Я в вас влюблена… ах, увидит муж!» – это говорит она всем при муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз в самом деле все это в скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз – тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять: «Я в вас влюблена… ах, увидит муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей».

Туркины – один в один! Вот только кто смотрит на них,

рассказывает о них? В рассказе личность молодого доктора показана буквально парой штрихов и речь идет более о Туркиных. О Старцеве вскользь упомянуто, что он «дьячковский сын» и получил место земского врача, живет в 9-ти верстах от города. Постепенно доктор «растет» – он буквально утолщается и начинает занимать все больше и больше места в повествовании. С годами мать и дочь Туркиных, напротив, худеют, усыхают – то есть занимают все меньше и меньше места. Становится понятно, что центральная линия рассказа – история врача Ионыча, путь его материального обогащения и духовного обнищания.

Изменения, происшедшие со временем в личности Старцева, можно проследить по истории его любви к Екатерине Ивановне.

Характеристика персонажей (цитатный материал)

…если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Старцев

И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? (*Автор*)

– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. (…) Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! (…) Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным… (*Екатерина Ивановна*)

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. (*Автор*)

Иван Петрович Туркин

«…полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно». (*Автор*)

Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю… (*Автор*)

Вера Иосифовна

Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. (*Автор*)

«Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого». (*Старцев*)

Екатерина Ивановна

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. (*Автор*)

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. (*Автор*)

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач…» (*Старцев*)

…больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. (*Сама о себе*)

Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. (*Сама о себе*)

Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

Про обывателей

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. (*Автор*)

– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего? (*Старцев*)

Краткий пересказ рассказа «Ионыч»

Действие рассказа происходит в губернском городе С. Город как город, с обычным течением жизни, который можно назвать спокойствием, а можно – скукой. В качестве культурной «достопримечательности» города С. местные жители называли семью Туркиных. Каждый в этой семье имел талант: отец – Иван Петрович – устраивал любительские спектакли, сам играл, а главное – был известный острослов, мать – Вера Иосифовна – писала романы: поучительные, славные, но всё о том, чего в жизни не может быть. Дочь их Екатерина мастерски играла на рояле. Туркины всегда были рады гостям и показывали им свои таланты.

Первая наша встреча с доктором – Дмитрием Ионычем Старцевым – происходит сразу после знакомства с семьей Туркиных. Дмитрий Ионыч только что назначен земским врачом. Молодой врач еще не имеет своих лошадей, а поселяется в Дялиже, в девяти верстах от С. В город он ходит пешком, но не грустит, а при случае напевает себе под нос.

Побывав на вечере у Туркиных, молодой врач находит их очень занятными: ему понравились и шутки хозяина, и роман хозяйки, и бурная игра Кати. В следующий раз он попал на вечер к Туркиным лишь год спустя – работа занимала все время.

Влюбившись в Екатерину Ивановну, Старцев начинает бывать очень часто.

Екатерина Ивановна – очень привлекательная девушка: она стройна, миловидна, достигла немалых успехов в игре на рояле. Но, судя по всему, человек она поверхностный, неглубокий. Мечтает стать великой артисткой, блистать, покорять. В то же время не замечает, что рядом с ней – человек дела, глубоко увлеченный, к тому же – любящий ее. Катя не любит Старцева и не интересуется ни его мыслями, ни работой, ни жизнью.

Шутка, выдуманная ею – встреча ночью на кладбище – крайне глупа. Не блещет она умом и в разговоре. Старцев надеялся, что встретил в Кате родственную душу: «С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей…». В рукописи у Чехова были слова, что «она могла понять, посочувствовать» – однако позже писатель их вычеркнул, оставив фразу: «во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом».

Влюбленный Старцев все-таки делает предложение, получает отказ. Не впадая в отчаяние, Старцев просто погружается в

ежедневные дела, коих у него немало. В следующую встречу, спустя четыре года, внимания Старцева ищет уже Екатерина Ивановна: стать великой пианисткой не получилось, как ни совершенствуйся в технике. Видимо, для истинного величия надобно было другое, но вот что? Память показывает Катеньке картины из прошлого: увлеченный молодой доктор, с жаром рассказывающий о своей профессии, о больнице… Только сейчас Екатерина Ивановна понимает, что променяла иллюзию великого будущего на любовь интересного, увлеченного молодого человека.

А что же Старцев? Из молодого с годами он превращается в зрелого, разочарование людьми растет, характер стал раздражительным. Прежней радости от работы уже нет, зато появились новые радости: игра в винт да доставание по вечерам бумажек, заработанных практикой. Старцев часто кричит на пациентов (чтобы говорили только по делу), а голос у него – тонкий (видно, от того, что горло заплыло жиром), неприятный. Он приобрел и лошадей, и экипаж, и дома, причем не останавливается в приобретении. Осматривая дома, выставленные на торги, он не обращает ни малейшего внимания на обитателей, он слеп к их драме. Душа его огрубела.

У него в городе образовалась уже громадная частная практика: «много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там». Он рад, что не женился.

Ионыч

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник – это было Вознесение, – после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия…

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

– Здравствуйте пожалуйста, – сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. – Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, – продолжал он, представляя доктора жене, – я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

– Садитесь здесь, – говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. – Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

– Ах ты, цыпка, баловница… – нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. – Вы очень кстати пожаловали, – обратился он опять к гостю, – моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

– Жанчик, – сказала Вера Иосифовна мужу, – dites que l'on nous donne du thé[3].

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

– Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал…» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука… В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, – читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие,

покойные мысли, – не хотелось вставать.

– Недурственно… – тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

– Да… действительно…

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

– Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил у Веры Иосифовны Старцев.

– Нет, – отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель… Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, – было так приятно, так ново…

– Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, – сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. – Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

– Прекрасно! превосходно!

– Прекрасно! – сказал и Старцев, поддаваясь общему

увлечению. – Вы где учились музыке? – спросил он у Екатерины Ивановны. – В консерватории?

– Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

– Вы кончили курс в здешней гимназии?

– О нет! – ответила за нее Вера Иосифовна. – Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

– А все-таки в консерваторию я поеду, – сказала Екатерина Ивановна.

– Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю…

Но это было не всё. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

– Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», – подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный…

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно…» – вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев всё собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте…

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться всё чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто… Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени…

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шёпотом, сильно волнуясь:

– Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

– Вы по три, по четыре часа играете на рояле, – говорил он, идя за ней, – потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

– Я не видел вас целую неделю, – продолжал Старцев, – а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

– Что вам угодно? – спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

– Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог

жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с – ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

– Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? – спросил он теперь. – Говорите, прошу вас.

– Я читала Писемского.

– Что именно?

– «Тысяча душ», – ответила Котик. – А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

– Куда же вы? – ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. – Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться… Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, – прочел Старцев, – будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, – подумал он, придя в себя. – При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, – думал он. – Котик тоже странная и – кто знает? – быть может, она не шутит, придет», – и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воротах можно было

прочесть: «Грядет час в онь же…» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние…

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным…

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, – уже было темно, как в осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:

«Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач…»

«Ну что ж? – думал он. – И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, – продолжал кусочек, – то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? – думал он. – В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку…»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже незачем – поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

– Делать нечего, – сказал Иван Петрович, – поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, – говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врет…

Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

– А я вчера был на кладбище, – начал Старцев. – Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны…

– Вы были на кладбище?

– Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал…

– И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

– Довольно, – сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

– Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

– О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична… Прошу, умоляю вас, – выговорил наконец Старцев, – будьте моей женой!

– Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. – Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но… – она встала и продолжала стоя, – но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый,

благородный, умный человек, вы лучше всех… – у нее слезы навернулись на глазах, – я сочувствую вам всей душой, но… но вы поймете…

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, – он не ожидал отказа, – и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

– Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно

будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это – по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

– А, здравствуйте пожалуйста! – встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. – Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое – несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: – Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, – он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, – и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

– Недурственно, – сказал Иван Петрович. Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», – подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

– Давайте же поговорим, – сказала она, подходя к нему. – Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эта дни думала о вас, – продолжала она нервно, – я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, – бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад. Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина Ивановна.

– Ничего, живем понемножку, – ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, – но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо

дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

– А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? – сказал он. – Тогда шел дождь, было темно…

Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь…

– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! – повторила Екатерина Ивановна с увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным…

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

– Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, – продолжала она. – Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза,

обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

– Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, – говорил Иван Петрович, провожая его. – Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

– Умри, несчастная!

Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу – и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т.»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

– Скажи, любезный, что сегодня я не могу ехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и… не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без

церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

– Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. – «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о́ пол и кричит своим неприятным голосом:

– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все – и старшины клуба, и повар, и лакей – знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о́ пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

– Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и всё, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

– Прощайте пожалуйста!

Степь (история одной поездки)

История создания и анализ произведения

Написанная в 1888 году, повесть «Степь» является дебютом Чехова в толстом журнале «Северный вестник», 1888, № 3. Написание повести – переломный момент в творчестве, переход от «осколков» (коротких рассказов) к крупной литературной форме. Повесть может считаться автобиографической, поскольку в ее основу легли впечатления Антона Павловича от поездки по Приазовью весной 1887 года.

Чехов надеялся, что «повестушка… раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются пока еще нетронутыми и как ещё не тесно русскому художнику» (*из письма Д. В. Григоровичу*).

Летний зной, степь, бричка с путниками. В степи не укрыться от солнца, а вокруг, если не обладать таким уникальным зрением, как подводчик Вася, – картины однообразные, а пространства – огромные. И на этом просторе, где даже богатырю есть где разгуляться, человек остается один на один с собой, с мыслями. Для того, кто обладает духовностью, кто занят делом, это вовсе не страшно, а даже хорошо: есть время подумать. Тот же, кто не имеет дела и беден духом, заполняет тягостно тянущееся время шалостями, как Дымов. Часть пути едет Егорушка с дядей и отцом Христофором, а часть – на мягком тюке шерсти, в обозе. Интересно наблюдать простых людей – подводчиков. Вот старичок Пантелей, старовер, пьет из лампадного стаканчика, ест из особой мисочки, особой ложкой; незлобивый и спокойный, вот потерявший голос бывший певчий Емельян, вот озорник Дымов, убивший для потехи безвредного ужа, а вот Вася, своим острым зрением видящий жизнь дикой природы: «…все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как всё было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, всё измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и

кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь».

В повествовании словно переплетаются два голоса: взрослый и детский. У взрослого рассказчика картины степной природы вызывают философские размышления, а ребенок видит природу как живое существо: у тополя стройная фигура и зеленая одежда; трава поет, жалуется; луна – больная; чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем…

Герои повести – русская природа (символ русской души), русский человек (купец, мужик, священнослужитель и даже разбойник).

Характеристика персонажей (цитатный материал)

Иван Иванович Кузьмичёв – купец

Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов… Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию.

Отец Христофор Сирийский – настоятель N-ской церкви

…на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. (*Автор*)

Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски всё равно как по-русски.

(…)

Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорил отец, весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы! (*Сам о себе*)

Варламов

Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

(…)

Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ни ми Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловою сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Моисей Моисеич – хозяин постоялого двора

…Около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Соломон – брат Моисей Моисеича

«Забывается (…) Грубитель и много о себе понимает. (Кузьмичев)

– Так и знал! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Ах, боже мой! Боже мой! – забормотал он вполголоса. – Уж вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете…

(…)

– Не в своем уме… пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится… Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда

Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене… А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

(…)

– Ночью он не спит и всё думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит… И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить? (*Мойсей Мойсеич*)

Графиня Драницкая

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели всё необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь…

Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит! (*Кузьмичев*)

Посреди комнаты стояло, действительно, сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

Егорушка увидел черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка.

Дениска

Дениске было уже около 20-ти лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

«Живые» пейзажи

А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь – бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное – всю жизнь один, один…

…ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…

(…)

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

(…)

Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

(…)

Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами

поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

(…)

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

(…)

Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром.

(…)

Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

(…)

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне.

Краткий пересказ повести

Сюжет повести строится как рассказ о долгом путешествии. Ранним июльским утром из уездного города N выезжает допотопная бричка, в которой сидят купец Иван Иванович Кузьмичёв, настоятель N-ской церкви отец Христофор Сирийский («маленький длинноволосый старичок») и племянник Кузьмичёва мальчик Егорушка девяти лет, племянник Кузьмичёва. Тонкий и беззлобный чеховский юмор рисует нам картину: мамаша будущего гимназиста Егорушки любит образованных людей и благородное общество, но где ей искать этого общества, когда родной брат продает шерсть? За мечтой отправляется девятилетний сын Егорушка, не понимающий, куда и зачем он едет, плачущий и неблагородно подпрыгивающий, «как чайник на конфорке», сидя в допотопной бричке.

Кузьмичёв и отец Христофор едут продавать шерсть, заодно купец везет своего племянника в гимназию. Егорушка не хочет ехать в город и грустит от разлуки с домом.

В дороге он встречает много новых людей. Вот постоялый двор Моисея Моисеича, отца большого семейства и шестерых детишек. С Моисеем Моисеичем живет брат Соломон, человек неуравновешенный, от него одни неприятности.

На постоялом дворе путешественники встречают красивую и богатую графиню Драницкую. Часть пути Егорушка едет с мужиками в обозе с шерстью. Днем и ночью он путешествует на мягком тюке, вечерами у костра ест мужицкую кашу и слушает страшные истории, придуманные и настоящие. Попав в сильную грозу, мальчик заболел. В городе его передают дяде и отцу Христофору, и добрый настоятель лечит мальчика.

Дядя устраивает его на жительство у старой подруги матери Настасьи Петровны, в доме которой «много образов и цветов». Договорившись на десяти рублях в месяц, Кузьмичев собирается в обратный путь. Шерсть продана, документы в гимназию поданы. Дядя и отец Христофор дарят мальчику по гривеннику и прощаются, оставляя его на новом месте. Егорушка плачем встречает новый день. В финале автор ставит вопрос: какова она будет, новая жизнь?

Степь (История одной поездки)

I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, – и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иваныч Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой – отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили… Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир – мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора, он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и

подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла всё позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит…

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью…

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал…

– Ну, не отревелся еще, рёва! – сказал Кузьмичов. – Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

– Ничего, ничего, брат Егор, ничего… – забормотал скороговоркой о. Христофор. – Ничего, брат… Призывай бога…

Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье – тьма… Истинно так.

– Хочешь вернуться? – спросил Кузьмичов.

– Хо… хочу… – ответил Егорушка, всхлипывая.

– И вернулся бы. Всё равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

– Ничего, ничего, брат… – продолжал о. Христофор. – Бога призывай… Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу… Так-то.

– Польза разная бывает… – сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. – Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

– Это бывает.

– Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра – женщина непонимающая, норовит всё по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

– А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается… Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и

лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – всё, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски…

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же – небо, равнину, холмы… Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница…

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и – опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи…

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изможденная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

– На людей едешь, пухлая! – кричит Дениска. – Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится… А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь – бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой

одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное – всю жизнь один, один… За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят… Шесть косарей стоят радом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно к смотрит вслед…

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница и всё еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

О. Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уже не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодушие и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча, он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары…

– А что, Дениска, догоним нынче обозы? – спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

– К ночи, бог даст, догоним…

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных

овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей… Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

– Стой! – закричал Кузьмичов. – Держи! Тпрр…

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

– Поди сюда! – крикнул Кузьмичов чебану. – Уйми собак, будь они прокляты!

Старик-чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке – совсем ветхозаветная фигура – унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

– Чья это отара? – спросил Кузьмичов.

– Варламовская! – громко ответил старик.

– Варламовская! – повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

– Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

– Никак нет… Приказчик ихний проезжали, это точно…

– Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась всё больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она всё уходила влево и не исчезала из глаз.

– Славный ветряк поставил сыну Болтва! – заметил Дениска.

– А что-то хутора его не видать.

– Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк всё еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!

II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

– Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски всё равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appellaris?»[4] А я отвечаю: «Christophorus sum»[5]. А он: «Ergo connominati sumus», то есть, мы, значит, тезки… Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе

Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорил отец, весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

– Должно быть, вы уж все науки забыли! – заметил Кузьмичов.

– Как не забыть? Слава богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

О. Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

– Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

– Духовная пища! – сказал он. – Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

– Науки науками, – вздохнул Кузьмичов, – а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

– Человек – не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

– Дениска, где ты там! Поди ешь! – сказал Кузьмичов, глубоко

вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посовестился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

– Бери, бери! – поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

– Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

О. Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

– Поглядывай, чтоб кто коней не увел! – сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка,

он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади… Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя! Задача мудреная… Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов… Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя… И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и всё такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…

Егорушка послушал немного и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее… Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь

стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять, от нечего делать, занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела всё та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

– Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

– Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову… Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а

время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет… Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше… Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза…

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

– Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

– Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

– Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

– А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! – сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20-ти лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге

и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

– Есть! – прохрипел он торжествующе и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове. Отец Христофор, вставайте, пора! – заговорил он встревоженно. – Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

О. Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шёпотом читать и креститься.

– Отец Христофор! – сказал укоризненно Кузьмичов. – Пора ехать, уж лошади готовы, а вы ей-богу…

– Сейчас, сейчас… – забормотал о. Христофор. – Кафизмы почитать надо… Не читал еще нынче.

– Можно и после с кафизмами.

– Иван Иваныч, на каждый день у меня положение… Нельзя.

– Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в

себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

– Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

– Fini![6]

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы всё еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и всё те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух всё больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании… Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью – я, мол, готово – и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков… Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону и долго еще было видно его мелькание…

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же

равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. О. Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы… Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу…

Затем скоро наступил вечер.

III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса – один мужской, другой женский, – завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

– Ах, боже мой, боже мой! – заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. – И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу… милости просим! Давайте мне все ваши вещи… Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

– Соломон! Соломон!

– Соломон! Соломон! – повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

– Иван Иваныч и отец Христофор приехали! – сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. – Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком всё тот же силач), и казалось, если бы в комнате повесили десяток

ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны – понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать – всё это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

– Когда проехали тут наши подводы? – спросил его Кузьмичов.

– Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

– А… Проезжал тут Варламов или нет?

– Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

– Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

– Да бог с вами, Иван Иваныч! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

– Некогда, некогда… Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

– Четверть часика! – взвизгнул Мойсей Мойсеич. – Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

– Некогда нам с чаями да с сахара́ми, – сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

– Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

– Что ж, чайку можно попить, – сочувственно вздохнул отец Христофор. – Это не задержит.

– Ну, ладно! – согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь

так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

– Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно – явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

– Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время и высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

– Приятного аппетиту! Чай да сахар! – начал он занимать гостей. – Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? – спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

– Это сынок сестры Ольги Ивановны, – ответил Кузьмичов.

– А куда же он едет?

– Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

– О, это хорошо! – сказал он, грозя самовару пальцем. – Это

хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

– Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

– Да, вздумал вот на старости лет… – сказал о. Христофор и засмеялся. – Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице… Суета!

– Зато грошей будет много!

– Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

– Отчего же он сам не поехал?

– А оттого… Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать – ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и – «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

– Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! – вздохнул Мойсей Мойсеич. – У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

– М-да… – согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. – Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому… Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Всё у меня

есть и всё слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

– Стало быть, верно.

– Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се… одышка и всякое там… Болею, плоть немощна, ну да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

О. Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

– Потеха! – сказал о. Христофор и махнул рукой. – Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах… Хорошо-с… Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се… Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки… живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

О. Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

– А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» – выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. – Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

– Бог с ним, с этим сжатым воздухом! – повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

– О, боже мой… – стонал он среди смеха. – Дайте вздохнуть… Так насмешили, что… ох!.. – смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

– Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, – сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

– В рублевых пачках по скольку? – начал о. Христофор.

– По пятьдесят… В трехрублевых по девяносто… Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте…

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

– Ах, деньги, деньги! – вздыхал о. Христофор, улыбаясь. – Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

– Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, – говорил вполголоса Кузьмичов, – не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения…

– Нет, Иван Иванович, – вздыхал о. Христофор. – Благодарим вас за внимание… Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой…

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

– А пойдем-ка, паничок, – сказал он вполголоса, – какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку,

где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

– Кушай, детка, кушай! – сказала она. – Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

– Ты куда едешь, детка? – спросила еврейка.

– Учиться, – ответил Егорушка.

– А сколько вас у маменьке?

– Я один. Больше нету никого.

– А-ох! – вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. – Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

– Ах, Наум, Наум! – вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. – А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал…», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту…». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая… Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала

стоглавая гидра.

– Гал-гал-гал-гал… – говорил Мойсей Мойсеич.

– Ту-ту-ту-ту… – отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник, в виде сердца.

– Возьми, детка, – сказала она, подавая Егорушке пряник. – У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

О. Христофор беседовал с Соломоном.

– Ну, что, Соломон премудрый? – спрашивал он, зевая и крестя рот. – Как дела?

– Это вы про какие дела говорите? – спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

– Вообще… Что поделываешь?

– Что я поделываю? – переспросил Соломон и пожал плечами. – То же, что и все… Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

– То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

– Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

О. Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

– Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

– Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, – ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. – Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит,

я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

– Постой… – перебил его о. Христофор. – Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

– Вы ничего не понимаете! – грубо оборвал его Соломон. – Я вам говорю одно, а вы другое…

– Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, – вздохнул о. Христофор. – Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право…

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, – вероятно, на нечистого духа.

– Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! – сказал с улыбкой о. Христофор. – Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли… На человека не похож…

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

– Соломон, выйди отсюда! – строго сказал он. – Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

– А что такое? – испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

– Забывается, – ответил Кузьмичов. – Грубитель и много о себе понимает.

– Так и знал! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Ах, боже мой! Боже мой! – забормотал он вполголоса. – Уж вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете…

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

– Не в своем уме… пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится… Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене… А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич всё еще бормотал вполголоса и вздыхал:

– Ночью он не спит и всё думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит… И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза… Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

– Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! – стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. – Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло, действительно, сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

– Проезжал здесь сегодня Варламов? – спросил женский голос.

– Нет, ваше сиятельство! – ответил Мойсей Мойсеич.

– Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

– Какой хорошенький мальчик! – сказала дама. – Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый…

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

– Егорушка! Егорушка! – раздался густой шёпот двух голосов. – Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

– Тпрр! – донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

– Графиня Драницкая, – прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

– Да, графиня Драницкая, – повторил Кузьмичов тоже шёпотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шёпотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.

IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели всё необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь…

«А какая она красивая!» – думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

– Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

– От ляха иного и ждать нельзя, – сказал о. Христофор.

– А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то

удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами – стоит только хорошенько встряхнуть головой – исчезают бесследно; да и всё, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево всё небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты – всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем – это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы… Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках… Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду

хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы… Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой… Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

– Тпрр! Здорово, Пантелей! Всё благополучно?

– Слава богу, Иван Иваныч!

– Не видали, ребята, Варламова?

– Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади – маленькими и коротконогими.

– Так мы, значит, теперь к молокану поедем! – громко говорил Кузьмичов. – Жид сказывал, что Варламов у молокана

ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

– Прощайте, Иван Иваныч! – ответило несколько голосов.

– Вот что, ребята, – живо сказал Кузьмичов, – вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

– Эй, возьми свою пальтишку! – крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать…» – думал он.

– Вы же, черти, его не забижайте! – послышался снизу голос Дениски.

– Прощайте, братцы! С богом! – крикнул Кузьмичов. – Я на вас надеюсь!

– Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

– Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий… Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели…

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее… Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели

дома, пекли и варили – это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от

мороза:

– А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?

– Нет, племянник…

– Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее… Слободнее, молодчик… То есть без сапогов-то… Значит, племянник? А он хороший человек, ничего… Дай бог здоровья… Ничего… Я про Ивана Иваныча-то… К молокану поехал… О, господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

– Ты куда же едешь? – спросил он, притопывая ногами.

– Учиться, – ответил Егорушка.

– Учиться? Ага… Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три… Иному три, это верно… Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то… А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

– Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший… Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье… В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету… А город ничего, хороший… Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету… Нету, это верно. Тебя как звать?

– Егорушка.

– Стало быть, Егорий… Святого великомученика Егория Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя Пантелей… Пантелей Захаров Холодов… Мы Холодовы будем… Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик… Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда… домой то есть. И в деревне был, и в городе… В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю… Может, кто и помер… А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно… Потому ей бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о

покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

– Да, повез парнишку… Повез, это верно…

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал:

– Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

– Это не змея, а уж, – крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

– Каторжный! – закричал он глухим, плачущим голосом. – За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?

– Ужа нельзя убивать, это верно… – покойно забормотал Пантелей. – Нельзя… Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная… Человека любит… Уж-то…

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

– Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

– Дед, ну за что убил? – повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

– Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, – ответил старик. – А ужа бить нельзя… Это верно… Дымов, известно, озорник, всё убьет, что под руку попадется, а Кирюха не

вступился. Вступиться бы надо, а он – ха-ха-ха, да хо-хо-хо… А ты, Вася, не серчай… Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними… Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума… Ничего… Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно… Потому человек образованный, а они глупые… Емельян-то… Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

– О чем разговор? – спросил он сиплым, придушенным голосом.

– Да вот Вася серчает, – сказал Пантелей. – Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит… Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

– Это от ходьбы, – заметил Вася.

– Не, паря, не… Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь – смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.

– Нету у меня голосу! – сказал он. – Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке… так бы, кажется и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

– Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу всё равно, что работнику без руки.

– Это верно, – согласился Пантелей.

– Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

– И паничек с нами едет! – сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. – Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и

холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом поперхнулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

– Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки… А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

– Дед, зачем ты пьешь из лампадки? – удивился Егорушка.

– Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, – ответил уклончиво старик. – Каждый по-своему… Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье…

– Голубушка моя, матушка-красавица, – заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. – Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

– Кому это ты? – спросил Кирюха.

– Лисичка-матушка… легла на спину и играет, словно собачка…

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву – это видел всякий, проезжавший степью, – но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо,

страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навыпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

– Ге-ге-ге! – кричал он. – Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды всё, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую – как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск – то Степка и Кирюха «драли» раков.

– Рак! Гляди, братцы: рак! – закричал торжествующе Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около

камышовых кореньев, копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял Другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

– Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

– Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

– Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

– А что ж? – согласился Кирюха. – Должно, тут много рыбы…

– Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!

– Не дадут!

– Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы всё равно – странники.

– Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

– А ты отчего не купаешься? – спросил Егорушка у Васи.

– А так… Не люблю… – ответил Вася.

– Отчего это у тебя подбородок распух?

– Болит… Я, паничек, на спичечной фабрике работал… Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от

долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

– Глыбоко, – хрипел Кирюха. – Ничего не поймаешь!

– Не дергай, чёрт! – кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. – Держи руками!

– Тут вы не поймаете! – кричал им с берега Пантелей. – Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельчее!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

– Эх! – крикнул Пантелей и притопнул ногами. – Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем – не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

– Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали…

– Что там? – кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

– Уже полное! – кричал он, тяжело дыша. – Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее

копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

– Братцы, – удивился Степка, – Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

– Это не пескарь, а бобырик, – покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

– А я здесь! – сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

– Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую пару,

стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю…» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

– Раздавали уж просфору? – спросил он.

– Нету, нету… – угрюмо забормотал сторож. – Нечего тут…

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и всё, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

– Дай мне на копейку подсолнухов! – обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности

лет выступила ржавчина:

– Почем эти пряники?

– Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

– А такие пряники у тебя почем?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

– Такие? – спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

– Три копейки пара…

Наступило молчание.

– Вы чьи? – спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

– Племянник Ивана Иваныча.

– Иваны Иванычи разные бывают, – вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: – Чайку не желаете ли?

– Пожалуй… – согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

– Хиба це овес? – сказал печально покупатель. – Це не овес, а полова, курам на смих… Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем…» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили всё в кипевшую воду.

– Класть сала? – спросил Степка, снимая ложкой пену.

– Зачем? Рыба свой сок пустит, – ответил Кирюха.

Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул – это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

– Вы! Дайте парнишке ложку! – строго заметил Пантелей. – Чай, небось, тоже есть хочет!

– Наша еда мужицкая!.. – вздохнул Кирюха.

– И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

– Дед, а ты чего не ешь? – спросил его Емельян.

– Не ем я раков… Ну их! – сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как всё было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, всё измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ

считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

– Ты, нехристь, сними шапку! – сказал он грубо – Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

– Дед, скоро мы поедем? – спросил Егорушка у Пантелея.

– Когда бог даст, тогда и поедем… Сейчас не поедешь, жарко… Ох, господи твоя воля, владычица… Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе… Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что

считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку… Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет…

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.

– Ничего… хорошие господа… – бормотал он. – Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про то… В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить… Нету, это верно… А парнишка хороший, ничего… Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено… Чти отца твоего и матерь твою… У меня у самого были детки, да погорели… И жена сгорела, и детки… Это верно, под Крещенье ночью загорелась изба… Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел… Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками… Да… На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но всё время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном всё казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть

большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый, покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало… Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест, Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое… Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней и кажется, что кузнецы кричат сдержанней… И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою…

– Дед, зачем это крест стоит? – спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

– Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

– Оно самое…

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

– Да, убили… – сказал нехотя Дымов. – Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог… Не утерпит, чтоб не показать себя

перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

– О, господи… владычица! – вздохнул Пантелей.

– На другой день чуть свет, – продолжал Дымов, – купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое…» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку…

Дымов стал на колени и потянулся.

– Да, – продолжал он, зевая. – Всё ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить… Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончил и свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть… Цел ли – не знаю… Отсюда не видать.

– Цел, – сказал Кирюха.

– Сказывают, денег потом нашли мало.

– Мало, – подтвердил Пантелей. – Рублей сто нашли.

– Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал… Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели – в нем души нет, помер…

– По кровяному следу его нашли… – сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

– Злых людей много на свете, – сказал Емельян.

– Много, много! – подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. – Много, – продолжал он вполголоса. – Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо… Злых-то людей… Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть… Спаси и помилуй, царица небесная… Помню раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах… купец-то… Хороший человек, ничего… Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну,

остановились мы и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и всё как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу – огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромя меня с купцом других постояльцев не было… Откуда огню быть? Взяло меня сумнение… Подошел я поближе… к огню-то… Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой… в доме-то… Лег я на землю и поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз…

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.

– Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный… На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат… Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам… Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо… Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много… Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить…» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти… Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. – «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что…» Ладно… Помолился я богу, и наставил меня бог на ум… Взлез я на свой тарантас и тихонько… тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то… Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти… Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше… Благодарить бога, вижу – стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить…» Побудил всех… Собрались мужики и пошли со мной… Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами… Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал… А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть, перевязали и повели к начальству. Купец

им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечьих нашли видимо-невидимо. Костей-то… Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было… Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

– Сало-то готово? – спросил его шёпотом Кирюха.

– Погоди маленько… Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

– Ехал я в другой раз тоже с купцом… – продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. – Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек… купец-то… Остановились мы таким же манером на постоялом дворе… Он в комнатке, я при лошадях… Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а всё как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу – стоит баба в одной рубахе, босая… – «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет… – «Вставай, говорит, добрый человек! Беда… Хозяева лихо задумали… Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались…» Ну, недаром сердце болело! – «Кто же ты сама?» – спрашиваю. – «А я, говорит, ихняя стряпуха…» Ладно… Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто… Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха…» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте… гляжу – мать царица! – входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника… Значит, и работников подговорили… Денег у купца много, так вот, мол, поделим… У всех у пятерых в руках по ножику длинному… По ножику-то… Запер хозяин на замов двери и говорит: «Молитесь, проезжие, богу… А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью…» Где уж тут кричать? У нас от страху и

глотку завалило, не до крику тут… Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Всё равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ… Молитесь богу, вот и всё тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел… Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет… А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит… В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились… Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай бог ноги… А мы скорей на двор, запрягли и – только нас и видели…

– Кто же это в окошко стучал? – спросил Дымов.

– В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромя некому… Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было… Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Всё может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка всё принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, – всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

– Зачем это дед особо сидит?

– Он старой веры, – ответили шёпотом Стёпка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.

– Что такое? – спросил его Дымов.

– Человек какой-то идет, – ответил Вася.

– Где ты его видишь?

– Во-он он! Чуть-чуть белеется…

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

– По шляху он идет? – спросил Дымов.

– Не, полем… Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

– А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, – сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

– Зачем ему гулять? – сказал Пантелей. – Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего… Купцы мученический венец приняли…

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

– Что-то несет, – сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса и подводчики вдруг

увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще всё у него казалось длинным и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился, как вкопанный, и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

– Хлеб да соль, братцы!

– Милости просим! – отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках – это была убитая дрохва, – и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

– Важная птица! Чем это ты ее? – спросил Дымов.

– Картечью… Дробью не достанешь, не подпустит… Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

– А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая – не укусишь…

– Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, те бы полтинник дали, да далече – пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

– Ты кто сам? – спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

– Я тебя спрашиваю: ты кто? – повторил Дымов.

– Я-то? – встрепенулся неизвестный. – Константин Звоныk, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

– Мы пасеку держим и свиней кормим.

– При отце живешь, али сам?

– Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

– Хорошее дело! – сказал Пантелей. – Жена ничего… Это бог благословил…

– Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, – засмеялся Кирюха. – Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул…

– Да господи, нету ее дома! – сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. – Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый…

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

– Поехала в Демидове к матери! – сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. – Завтра вернется… Сказала, что к обеду назад будет.

– А тебе скучно? – спросил Дымов.

– Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала… А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

– Любишь, значит… – сказал Пантелей.

– Там такая хорошая да славная, – повторил Константин, не слушая, – такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала… А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется… А ведь какая история! – почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу, – теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

– Да ты ешь! – сказал Кирюха.

– Не хотела за меня выходить! – продолжал Константин, не слушая. – Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай… Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хочу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда – не хо́чу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень: борода окладистая – гвоздем, лицо чистое – всё в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел… Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове… И что ж вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтобы на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики… Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть…

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

– Гляжу, она с парубка́ми около речки, – продолжал он. – Взяло меня зло… Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова… Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!

– А какие слова? – спросил Дымов.

– Слова? И не помню… Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из желоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного такого слова не выговорю… Ну, и пошла за меня… Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на

огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал и красное пятно сузилось, потускнело… И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест…

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли… Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

– Братцы, – сказал он умоляюще. – Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

– Братцы! – повторил он, прижимая руку к сердцу. – Давайте споем что-нибудь божественное!

– Я не умею, – сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание…

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником… Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать…

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся всё меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их

теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек – тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

«Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» – запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

– Время ехать! – сказал Пантелей. – Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подводи восхищался своей женой.

– Прощайте, братцы! – крикнул он, когда обоз тронулся. – Спасибо вам за хлеб за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные, невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

– Дед, какая это деревня? – спросил Егорушка.

– Это, молодчик, армянские хутора, – отвечал Пантелей. – Тут армяшки живут. Народ ничего… армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

– Экие дела, подумаешь! – вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. – Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет… Степку послать бы!

– Дед, а кто это? – спросил Егорушка.

– Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

– Ничего, хороший человек… – говорил Пантелей, глядя на хутора. – Дай бог здоровья, славный господин… Варламов-то, Семен Александрыч… На таких людях, брат, земля держится. Это

верно… Петухи еще не поют, а он уж на ногах… Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу… Кружится… Этот уж не упустит дела… Не-ет! Это молодчина…

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

– Семен Александрыч, – крикнул Пантелей, снимая шляпу, – дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

– Это, должно, его объездчик, – сказал Пантелей. – У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

– А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

– Пошел вон! – крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ни ми Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловою сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то

равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

– Здгаствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

– Крутой старик… – бормотал Пантелей. – Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек… Не обидит задаром… Ничего…

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

VII

И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнев. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное… Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

– Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! – сказал он, глядя со злобой на Емельяна. – Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает – барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

– Да ты что пристал? – спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

– А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

– Дурак, вот и всё, – просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Бася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

– Певчий… – не унимался озорник, презрительно усмехаясь. – Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

– Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

– Да что ты ко мне пристал, мазепа? – вспыхнул Емельян. – Я тебя трогаю?

– Как ты меня обозвал? – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. – Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

– Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

– На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

– Тоже, скажи пожалуйста! – усмехнулся Дымов. – Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он – никогда с ним этого не было раньше – вдруг затрясся всем телом, затопал ногам и закричал пронзительно:

– Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его

крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами, и шептал:

– Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, – всё теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его… И только когда он шептал: «мама! мама!» ему становилось как будто легче…

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него… Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

– Как его звать?

– Егорий… – ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

– Ёра! – сказал он тихо. – На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

– Ничего, бей! – повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

– Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

– Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, – сказал он, проходя мимо Емельяна. – Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния и, точно отразившись в зеркале,

она тотчас же сверкнула вдали.

– Егорий, возьми! – крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

– Что это? – спросил Егорушка.

– Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

– Дед, гроза будет? – спросил Егорушка.

– Ах, ножки мои больные, стуженые! – говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

– А он обложной! – крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

– Скучно мне! – донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. – Скушно!

Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

– Пантелле-ей! – крикнул кто-то впереди. – А… а…ва!

– Не слыха-ать! – ответил громко и нараспев Пантелей.

– А…а…ва! Аря…а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

– Свят, свят, свят, господь Саваоф, – прошептал Егорушка, крестясь, – исполнь небо и земля славы твоея…

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда всё кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянув из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

– Пантелей! – позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда всё кончится.

– Свят, свят, свят… – шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах, тах! тах!» – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым – «трра!..»

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» – понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось – «Ррра!»

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

– Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» – ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

– Дед, великаны! – крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно,

как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога…

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда всё кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

– Егоргий, да ты спишь, что ли? – крикнул внизу Пантелей. – Слезай! Оглох, дурачок!..

– Вот так гроза! – сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала всё небо.

– Гроза хорошая, ничего… – бормотал Пантелей. – Слава богу… Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего… Слез, Егоргий? Ну, иди в избу… Ничего…

– Свят, свят, свят… – просипел Емельян. – Беспременно где-нибудь ударило… Вы тутошние? – спросил он великанов.

– Не, из Глинова… Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

– Молотите, что ли?

– Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было…

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха, с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

– Грозу-то какую бог послал! – говорила она. – А наши в степу ночуют, то-то натерпятся сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся…

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на

рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло…

– Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? – сказала старуха. – Иди, садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

– Кушай, батюшка! Больше угощать нечем… – сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. – Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

– Наши в степу ночуют… – вздыхала старуха, пока он ел. – Страсти господни… Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай…

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

– Должно, часа два теперь, – сказала она. – Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют… Небось, вымокли все…

– Бабушка, – сказал Егорушка, – я спать хочу.

– Ложись, батюшка, ложись… – вздохнула старуха, зевая. – Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал… Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

– Гроза-то не унимается, – бормотала она. – Как бы, неровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют… Ложись, батюшка, спи… Христос с тобой, внучек… Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

– Парнишка лег? – послышался через минуту шёпот Пантелея.

– Лег! – ответила шёпотом старуха. – Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать…

– Сейчас пройдет… – прошипел Пантелей, садясь. – Потише стало… Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались… Ребята-то… Нельзя… Уведут лошадей… Вот посижу маленько и пойду на смену… Нельзя, уведут…

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шёпотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но всё тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали… Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился всё сильней и сильней.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка всё еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шёпот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

– Дед, мне холодно! – сказал он и не узнал своего голоса.

– Спи, внучек, спи… – вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. О. Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

– Дед! – позвал он. – Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него,

Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто – оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

– Это варламовские! – крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

– Дед, мне холодно! – сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

– Ничего, скоро до места доедем, – зевнул Пантелей. – Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз – это было уже перед вечером – он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив…

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой.

– Захворал наш парнишка! – сказал он. – Должно, живот

застудил… парнишка-то… На чужой стороне… Плохо дело!

VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

– А мы еще вчера вечером приехали… Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

– Дяденька и о. Христофор теперь в номере, – продолжал Дениска, – чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N – ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором, действительно, за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

– А-а, Егор Никола-аич! – пропел о. Христофор. – Господин Ломоносов!

– А, господа дворяне! – сказал Кузьмичов. – Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

– Ну, как доехал, puer bone[7]? – засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. – Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь всё такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепахину и так, как дай бог всякому… Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

– Вот-те на! – удивился о. Христофор. – А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

– Вот-те на! – повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. – Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

– Я… я болен! – проговорил Егорушка.

– Болен? – смутился о. Христофор. – Вот это уж и нехорошо, брат… Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат… а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

– Да, голова горячая… Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал… Ты бога призывай.

– Хинины ему дать… – сказал смущенно Иван Иваныч.

– Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать… Георгий, хочешь супчику? А?

– Не… не хочу… – ответил Егорушка.

– Тебя знобит, что ли?

– Прежде знобило, а теперь… теперь жар. У меня всё тело болит…

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.

– Вот что, ты раздевайся и ложись спать, – сказал о. Христофор, – тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальтом Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

– Бейте его! Бейте его! – крикнул Егорушка.

– Бредит… – проговорил вполголоса о. Христофор.

– Хлопоты! – вздохнул Иван Иваныч.

– Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. О. Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шёпотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и

заботу.

– Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену, – говорил он вполголоса, – то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. О. Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик – понимаю, мол, – вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иваныч постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

– А завтра я в собор думаю… – сказал о. Христофор. – Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

– Говорят, не принимает, – продолжал о. Христофор, разоблачаясь. – Так и уеду, не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

– Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. О. Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

– Во имя отца и сына и святаго духа… – шептал он. – Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай… Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

– В дороге.

– Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святаго духа… Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже

тянулись к полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом всё сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

– Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

– Теперь хорошо, – ответил Егорушка, целуя ему руку.

– Слава богу… А я из обедни… Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

– Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, – сказал о. Христофор. – В будень не из чего бы роскошествовать, да, подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая…

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

– Кушай, – сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. – Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы всё понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки…

географию, конечно, историю, богословие, философию, математику… А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда всё будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли…

О. Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

– Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие, или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что бог благословил. Ты соображайся… Святые апостолы говорили на всех языках – и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию – и ты учи; святый Нестор писал историю – и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся…

О. Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

– Хорошо! – сказал он. – Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно… Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю… И им приятно. Так-то вот, брат… Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится… Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь…

О. Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шёпотом:

– Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

– Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

О. Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

– Горе! Горе!

О. Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

– Ну, со всеми делами справился, – сказал он. – Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

– «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

– Хлопоты! – бормотал дядя. – Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами…

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» – подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городового, где Малая Нижняя улица.

– Эва! – усмехнулся городовой. – Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

– Скажите, пожалуйста, – обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, – где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

– Никакой тут Тоскуновой нет, – ответил старик, подумав. – Может, Тимошенко?

– Нет, Тоскунова…

– Извините, Тоскуновой нету…

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

– Да не ищите! – крикнул ему сзади старик. – Говорю – нету,

значит нету!

– Послушай, тетенька, – обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, – где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

– Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? – спросила она. – Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

– А где она теперь живет? – спросил Иван Иваныч.

– Господи! – удивилась старуха, всплескивая руками. – Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!», но тот очень покойно спросил:

– Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

– Идите всё прямо, прямо, прямо… Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа…

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

– Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

– Кого вам? – крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

– Здравствуйте! – тоже крикнул ей Иван Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. – Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

– Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

– На что она вам?

– Да, может, вы сами Настасья Петровна?

– Ну, я!

– Очень приятно… Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч… Вы ведь наша N – ская… Вы у нас и родились, и замуж выходили…

Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

– Ольга Ивановна! – взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. – Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький…

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

– Господи! – сказала она, ломая руки. – Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

– У меня не прибрано! – говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. – Ах, матерь божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

– Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

– Атька…

Это значило: Катька.

– Он у вас будет жить, – шептал в зале Иван Иваныч, – ежели

вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий…

– Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! – плаксиво вздыхала Настасья Петровна. – Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболеет, или что…

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

– Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, – говорил он. – Прощайте! Оставайся, Егор! – сказал он, обращаясь к племяннику. – Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну… Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей… В печке кричал сверчок и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез… И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иваныч и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

– Некогда нам с чаями да с сахара́ми! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

– Ну, – начал Иван Иваныч, поднимаясь, – значит, ты остаешься…

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

– Смотри же, учись… Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну… Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке

спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.

– Во имя отца и сына и святаго духа… Учись, – сказал он. – Трудись, брат… Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек…

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

– Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, – сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник. – Седьмого августа вы его на экзамен сведете… Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

– Да вы бы хоть чайку покушали! – простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая – первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, всё то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него…

Какова-то будет эта жизнь?

Дом с мезонином

История создания

Впервые «Дом с мезонином» был напечатан в журнале «Русская мысль», 1896, № 4. Известно, что задуман рассказ был под названием «Моя невеста». В письме А. С. Суворину от 29 декабря 1895 г. речь идет уже о «небольшой повести». Первые впечатления попали в «копилку» фактуры произведения летом 1891 г., когда семья Чеховых жила на даче в Тульской губернии, в имении Богимово. Владелец имения Е. Д. Былин-Колосовский и его экономка Анимаиса Орестовна стали прототипами помещика Белокурова и Любови Ивановны. Чехов, как и герой рассказа, художник, жил в «старом барском доме». Парк с еловой аллеей также имел место в реальности – такой парк располагался в соседнем имении Даньково, где и находился дом с мезонином. В письме Е. М. Шавровой от 26 ноября 1895 г. Чехов писал: «У меня когда-то была невеста… Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом и пишу».

Характеристика персонажей (цитатный материал)

Главный герой

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. (*Сам о себе*)

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «да, люди бессмертны», «да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств. (*Сам о себе*)

Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден… (*Сам о себе*)

Белокуров

(…) молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. (*Главный герой*)

Лидия Волчанинова

Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. (*Главный герой*)

…тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом. (*Главный герой*)

Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте.

– Наша Лида замечательный человек, – говорила часто мать. – Не правда ли? (*Главный герой*)

– Она замечательный человек, таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки – всё это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет… Замуж нужно. (*Мать*)

Мисюсь

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс,* свою гувернантку. (*Главный герой*)

…я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. (*Главный герой*)

Герои об общественном благе

По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья – вот вам мое убеждение. (*Главный герой)*

– Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину. (*Главный герой*)

Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. (*Лида*)

Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они ни боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея.

Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти. (*Главный герой*)

Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, – такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты. (*Главный герой*)

(Медицина) была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд – а тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит. (…) Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, – они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд… У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду… Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары! (*Главный герой*)

Краткий пересказ

Рассказ ведется от имени молодого, однако пользующегося известностью художника, который гостит в имении у помещика Белокурова. Проводя дни в праздности, художник часто бродит по окрестностям, и как-то раз видит незнакомую усадьбу. И вид этой усадьбы, и две молоденькие девушки, встреченные там, – все оставляет приятный след в его душе. Познакомившись с семьей Волчаниновых, главный герой много времени начинает проводить с ними. Со старшей сестрой, Лидой, которая имеет активную жизненную позицию (работает в земской школе, принимает больных крестьян, тратит на себя лишь заработанные своим трудом деньги), главный герой постоянно спорит по важным вопросам. Он считает, что прежде всего надо дать народу свободу, снять иго непосильного труда, а потом народ уже сам приобщится к ценностям культуры и образованию. Аргумент Лиды: «надо же делать хоть что-нибудь». Имеется в виду – не бездействовать в трудной ситуации.

В противовес Лиде все остальные герои рассказа живут совершенно расслабленно и праздно. Женя (младшая сестра, которую называют Мисюсь) весь день проводит возле матери, читая. Молодой художник читает, гуляет. Между ним и Мисюсь зарождаются отношения.

Содержание всего рассказа «Дом с мезонином» (отнюдь не маленького) – в противопоставлении жизненных позиций, в разговорах. Лида спорит с жизненной философией главного героя, говоря о нем отвлеченно, как о неком классе: «господа пейзажисты», подразумевая тем самым, что пейзаж – не предмет первой необходимости, а значит, польза от него невелика.

Узнав, что «господин пейзажист» поцеловал сестру Женю, признавшись ей таким образом в любви, Лида устраивает отъезд матери и сестры, чтобы прекратить эти отношения. Финал рассказа открыт – читатель может сам домыслить, что будет дальше с героями.

Дом с мезонином (рассказ художника)

I

Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая – ей было 17–18 лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

– Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, – сказала она Белокурову, подавая ему руку. – Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

– Интересная семья, – сказал Белокуров. – Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня

разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

– Не хорошо, Петр Петрович, – говорила она укоризненно. – Не хорошо. Стыдно.

– Правда, Лида, правда, – соглашалась мать. – Не хорошо.

– Весь наш уезд находится в руках Балагина, – продолжала Лида, обращаясь ко мне. – Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс,* свою гувернантку. Всё время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя… Это крёстный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и lawn-tennis, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили вы, и всё мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и всё дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко – быть может оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

– Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, – сказал Белокуров и вздохнул. – Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э», и работал так же, как говорил, – медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

– Тяжелее всего, – бормотал он, идя рядом со мной, – тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я всё думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом, всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

– Это для вас не интересно.

Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и,

сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-

нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

– Вчера у нас в деревне произошло чудо, – сказала она. – Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала и прошло.

– Это не важно, – сказал я. – Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что не понятно, то и есть чудо.

– А вам не страшно то, что не понятно?

– Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «да, люди бессмертны», «да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

– Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, – Женя дотронулась до моего рукава пальцем, – скажите, почему вы с ней всё спорите? Почему вы раздражены?

– Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.

– Как это непонятно! – проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Всё небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на

террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

– О, мама, – сказала Женя, целуя у нее руку, – тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «ау, Женя!» или: «мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте.

– Наша Лида замечательный человек, – говорила часто мать. – Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

– Она замечательный человек, – сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: – Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки – всё это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет… Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

– Мамочка, всё зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lawn-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что всё кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за всё лето мне захотелось писать.

– Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? –

спросил я у Белокурова, идя с ним домой. – Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, – отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

– Вы забываете, что я люблю другую женщину, – ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

– Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, – сказал я. – О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э…», заговорил о болезни века – пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

– Дело не в пессимизме и не в оптимизме, – сказал я раздраженно, – а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

– В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, – говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. – Рассказывал много интересного… Обещал опять поднять в

губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. – И обратясь ко мне, она сказала: – Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

– Почему же не интересно? – спросил я и пожал плечами. – Вам не угодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

– Да?

– Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

– Что же нужно? Пейзажи?

– И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

– На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

– Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас, – ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. – По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья – вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

– Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и

школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

– Я спорить с вами не стану, – сказала Лида, опуская газету. – Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы – правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

– Правда, Лида, правда, – сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

– Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, – сказал я. – Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

– Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! – сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

– Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, – сказал я. – Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

– Освободить от труда! – усмехнулась Лида. – Разве это возможно?

– Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не

более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они ни боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

– Вы, однако, себе противоречите, – сказала Лида. – Вы говорите – наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

– Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, – такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

– Вы и медицину отрицаете.

– Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд – а тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит, – продолжал я возбужденно. – Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, – они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд… У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своем

большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду… Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

– Мисюська, выйди, – сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

– Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, – сказала Лида. – Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

– Правда, Лида, правда, – согласилась мать.

– Вы угрожаете, что не станете работать, – продолжала Лида. – Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. – И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: – Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

– В деревне все спят, – сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные, печальные глаза. – И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь, – грустная, потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые

почему-то пугали ее.

– Мне кажется, вы правы, – сказала она, дрожа от ночной сырости. – Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы всё.

– Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет – человечество выродится и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

– Спокойной ночи, – проговорила она, дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода. – Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

– Побудьте со мной еще минуту, – сказал я. – Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

– Останьтесь еще минуту, – попросил я. – Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

– До завтра! – прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. – Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать всё маме и сестре… Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

– Прощайте! – крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного

в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lawn-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый – это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени… Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и всё ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

– Вороне где-то… бог… – говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. – Бог послал кусочек сыру… Вороне… где-то… Кто там? – окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

– Это я.

– А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

– Екатерина Павловна в саду?

– Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу… – добавила она, помолчав. – Вороне где-то… бо-ог послал ку-усочек сыру… Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

– Кусочек сыру… Вороне где-то бог послал кусочек сыру…

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад,

мимо дома, потом по липовой аллее… Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала всё сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, – прочел я. – Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь… На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся…

Мисюсь, где ты?

notes

Сноски

1

Хороший человек, но плохой музыкант (нем.).

2

Да здравствует Франция!.. (франц. Vive la France!)

3

Скажи, чтобы дали нам чаю *(франц.)*

4

Добрый мальчик, как тебя зовут? *(лат.)*.

5

Христофор *(лат.)*.

6

Кончил! *(лат.)*.

Добрый мальчик? *(лат.)*.